

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

---

### «ПРОШЛО СТО ЛЕТ...»

---

Петербург был заложен спустя три года после того, как император, переменив календарь, приобщил россиян историческому времени («столетнему веку»).

XVIII столетие привило вкус к памятным датам в истории новой столицы — они были расписаны вперед. В «Похвале Ижерской земле...», сочиненной В. К. Третьяковым в 1752 году, накануне первого юбилея, довольно точно предсказывалась программа следующего праздника:

Не больше лет, как токмо с пятьдесят,  
Отнеде ж все хвалу от удивленной  
Ему души со славою гласят,  
И честь притом достойну во вселенной.  
Что ж бы тогда, как пройдет уж сто лет?  
О! вы по нас идущие потомки,  
Вам слышать то, сему коль граду свет,  
В восторг пришел, хвалы петь будет громки.

16 мая 1803 года (это еще «дней Александровых прекрасное начало») столица торжественно «возобновила память об основателе сего града...» Марш войск по Английской набережной на Сенатскую площадь возглавлял сам император, который, поровнявшись с памятником Петру, «изволил ему салютовать, чему последовали все войска»<sup>1</sup>. Во время парада у монумента за-

стыли шеренги кадетского корпуса; Фаддеем Булгарин, один из его питомцев, всю жизнь гордился этой «близостью» к Отцу отечества.

В тот же день студент Геттингенского университета Александр Иванович Тургенев записал в дневник: «Теперь нам надобно праздновать заложение Петербурга, чтоб и самое позднее потомство с такою же достоверностию, как и мы, могло торжествовать происхождение того колосса, который в одно столетие достиг того величия, которого другие его товарищи достигали в целые тысячелетия. (...) Чего не в силах произвести усердие русских, оживляемых духом Петровым! Бедное прибежище рыболовов превращает оно во всеобщее пристанище для всех мореходствующих наций. Там, где стояла рыбацья хижина, возвышается теперь нерукотворная каменная гора под великим своим преобразователем» (21, 221). В тургеневской записи варьируется главная формула, выработанная одописцами истекшего века, обращавшимися к петербургской теме: «прежде дбрь — ныне град»<sup>2</sup>. То, что «Северная Пальмира» утвердилась и заставила говорить о себе за ничтожный по историческим меркам срок, весьма льстило национальному самолюбию, и в культурном сознании начал складываться образ вечно юного, *столетнего* Петербурга.

Этот праздник молодости грозил затянуться. Рославлев, герой одноименного романа М. Н. Загоскина (1831), в мае 1812 года ведет заносчивую перебранку с французским дипломатом: «Скажите, произвели ли ваши предки в течение многих веков то, что создано у нас в одно столетие? Не походит ли на быструю перемену декораций вашей парижской оперы это появление великолепного Петербурга среди непроходимых болот и безлюдных пустынь севера?» Впрочем, утвердительный ответ на подобный вопрос не обязательно подразумевал тональность панегирика. Летом 1829 года исконный москвич Степан Петрович Шевырев, приехав в Италию, делился первыми впечатлениями в письме Михаилу Петровичу Погодину: «Ощущения римские совершенно противоположны петербургским: Петербург нов, свеж, молод; Рим стар, валится, пылен, заплесне-

вел; Петербург произведет мгновенное блестящее впечатление в первый день, как приедешь в него; Рим охладит весь пыл мечтательности своим суровым и загаженным видом <...> Пет(ербург) можно в неделю обзреть, а в Риме мало двух лет...» Шевыреву как будто вторил Николай Бестужев осенью 1839 года (когда его перевели на поселение в Селенгинск): «...Петербург поражает с первого раза, удивляет в продолжение месяца и скаучит своею наружностью после».

В иных же контекстах молодость города прямо ассоциировалась с его искусственным происхождением, а новизна — с чужеродностью. В повести Александра Бестужева (Марлинского) «Фрегат „Надежда“» (1832) есть пассаж о двух столицах. В Москве автор ценит прежде всего «старину». «Зато уж в Петербурге <...> все новое, все с молотка — и ни русского лица, ни русского словца! На площадях толкуются маймисты (финны.— А. О.), на перекрестках стоят синьоры с продажными зонтиками, по набережным покачиваются англичане с руками в карманах <...> У крылец шаркают французы, в нижних этажах шевелятся немцы. Русский калач там чужестранец...» За аналогичными уколами, а также гораздо более яростными инвективами в адрес северной столицы и ее основателя стоит обширная историко-философская традиция (54, 165—167), успешно конкурировавшая с официальной апологетикой. Петербург, замечает современный исследователь, «это город, созданный вопреки Природе и находящийся в борьбе с нею, что дает двойную возможность интерпретации города: как победы разума над стихиями, с одной стороны, и как извращенности естественного порядка, с другой» (145, 31). Впрочем, «юбилейная» и «поминальная» темы тесно сосуществовали, порой переплетаясь в писаниях, речах, острогах одного и того же лица.

Уже в ноябре 1824 года в столице наделали много шума куплеты Александра Ефимовича Измайлова, написанные на следующий день после потопа и перепевавшие его давнее стихотворение «Опасность от воды».

Бог вздумал грешных наказать,  
И Петербург вода покрывала.  
Вот это может доказать,  
Сколь пагубна ее нам сила.

Такой бы не было беды  
И с грешниками без воды.

В этажах нижних, в погребах  
Рыданья, стоны раздаются,  
И в мутных яростных волнах  
Бочонки, кадочки несутся.

Такой бы не было беды  
В этажах нижних без воды. <...>

Большие лодки там плывут,  
Где прежде все пешком ходили —  
Где тротуар — по горло тут!  
Колоды, бутки, дамы плыли!

Такой бы не было беды  
Здесь в Петербурге без воды...

(191, 267—268)

Торжественный канон невосковой столице («где прежде — там теперь») иногда невольно пародировался горожанами, пытавшимися выразительно передать масштабы бедствия: «Все улицы, когда вода сбыла, покрыты были ломом, — а на Васильевском острове и Петергофской дороге проезду не было — там, где были дома, там сделались площади, где были площади, туда принесло дома» (178, 243). Но Измайлов сознательно каламбурил, и не случайно его куплеты крайне раздражили столичного генерал-губернатора М. А. Милорадовича. Спустя две недели после наводнения Измайлов писал П. Л. Яковлеву: «Теперь только пробило 5 часов, а я не сплю уже с лишком час; сижу один в гостиной не за столиком на софе, но в креслах перед столиком против софы и портрета Петра Великого. Ах! Петр Великий! Петр Великий! Зачем построил ты столицу на таком низком месте? Взгляни-ка на Петербургскую сторону, на Галерную гавань и полюбуйся! Что? А?.. Молчит, не отвечает ни слова: видно, что виноват» (279, л. 56).

Беспричинный, обиходный оптимизм уступал место беспокойству. «Нас пугает, — писал Г. С. Батеньков

своим московским друзьям Елагиным, — всякое едва приметное возвышение воды, пугает туман, слабый ветер, а более всего пугает, как детей, ежедневная смена дня ночью. Петербург и его окрестности лишились многих своих красот, и, вместо непрерывного улучшения, с 7 ноября началась для сего города эпоха возобновления, и оно, конечно, много лет должно продолжаться».

Другое письмо, посланное в те дни из Петербурга, завершалось элегическим сетованием: «Рассказывая об этом происшествии, поневоле задумываешься о бренности человеческой жизни... Поле для размышлений здесь обширное, но сколько ни размышляй, это не мешает нам рано или поздно оказаться под водой. Поскольку я не умею плавать как рыба и мне далеко до госпожи Акулы и господина Кита, то в этом случае мне придется навсегда проститься с тобой, с моими пенами, с моими книгами» (178, 245).

Ощущение бренности бытия, бессилия любой земной мощи перед вызовом судьбы владело императором Александром I, вступившим в последний год своего царствования. Реплика, которую он произносит в «петербургской повести» («С Божией стихией царям не совладать»), соответствует его словам в письме Н. М. Карамзину от 10 ноября 1824 года: «Воля Божия: нам остается преклонить главу перед нею». Эти слова приведены в письме Карамзина И. И. Дмитриеву от 8 декабря 1824 года и могли быть известны Пушкину в устной передаче друзей — например, Вяземского (54, 168). Любопытно, что такая же сентенция приходит на ум и рядовому очевидцу наводнения, размышляющему о несчастном жребии Александра I.

«Для чего бы сему усмирителю Европы, укротителю сильнейшего врага, возмущавшему толико лет человечество, не иметь чудодействия: попать и сих лютейших истребителей всего тленного, укротить бурные воды и обуздать ветры сокрушительные? Нет! Бог славы своея иному не даст. Не во власти наместников его повелевать стихиями» (99, 137) <sup>3</sup>.

Как водится, заметно пополнился запас городских анекдотов. Вяземский (которого не было в те дни в



## POUCHKINE

### LE CAVALIER DE BRONZE

TRADUIT SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX  
ET PUBLIÉ PAR

ANDRÉ MEYNIÉUX

CANCIERS D'ÉTUDES LITTÉRAIRES  
ÉDITIONS ANDRÉ BONNE

Рисунок Пушкина  
в черновой рукописи «Тазита»  
Обложка парижского издания 1959 г  
(перевод А. Менье)

Петербурге) рассказывал, например, что после наводнения разгневанная графиня Анна Петровна Толстая не отказала себе в удовольствии «проехать мимо памятника Петра и высунуть пред ним язык»<sup>4</sup>. Толки и пересуды умножались тогда с пугающей быстротой; спустя шесть лет Вяземский вспомнил об австрийском дипломате Шварценберге, который «не столько боялся наводнения 7 ноября, как последовавших за ним разговоров» (209, 104—105). Как бы полемизируя с тысячеустой молвой, Карамзин писал Вяземскому 2 декабря 1824 года: «О здешнем наводнении вы уже столько слышали, что не хочу говорить об нем. Погибло 500 человек и много миллионов рублей. Пока еще не думаем бежать от Невы, очень прекрасной и столь ужасной. Столицы наши прошли огонь и воду: чего еще ожидать? Авось будет долгий и широкий промезуток: потому что временные бедствия государств и городов так же необходимы, как болезни человеческие».

Историограф оказался плохим предсказателем. Ипохондричный Филипп Филиппович Вигель был проницательнее (если, впрочем, не приписал себе эту заслугу задним числом): «Я провел большую часть жизни в Петербурге и с сокрушенным сердцем узнал о его потоплении. Не знаю отчего, но тогда же сие событие показалось мне предвестником других, еще несчастнейших». Всего лишь через год с небольшим после мятежа невской стихии Петровская площадь стала ареной нового бунта. 14 декабря 1825 года Александр Бестужев, выведший Московский полк к зданию Сената, вспрыгнул на подножие памятника Петру, где точил о гранит свою саблю, демонстрируя готовность к так и не начавшейся атаке. Декабрист Александр Иванович Якубович заявил потом на допросе в Следственном комитете: «Я молод, виден собою, известен в армии храбростью; так пусть же меня расстреляют на площади, подле памятника Петра Великого, где посрамились в нерешительности».

Для судьбы «Медного всадника» это событие имело важнейшее значение — в читательском сознании рано или поздно финалы обеих историй сблизились, сюжет поэмы неизбежно обрастал политическими аллюзиями (59; 43; 28). *Прошло сто лет*, и «остров малый» — место

упокоения пушкинского героя — стал пониматься как остров Голодай. Оттуда вышел на Петровскую площадь призрак Евгения в стихотворении Михаила Зенкевича, посвященном наводнению 1924 года:

А на площади, там, где волны, глoday,  
У Медного Всадника лижут гранит,  
Мертвец, от острова Голодая  
Принесенный, на мраморном звере сидит.

Сумасшедший в плаще, кого он дурачит?  
Утопленник бледный, как он знаком!  
Иссохшие пальцы клешнею рачьей  
Сжимая, кому он грозит кулаком?

Догадка поэта приобрела статус научной гипотезы. В 1935 году М. В. Алпатов писал об «острове малом»: «Может быть, в нем сказалось смутное воспоминание о том острове Голодае, на котором были погребены казенные декабристы» (13, 375). На этом отождествлении настаивает и Анна Ахматова<sup>5</sup>.

Стихийное бедствие, случившееся 7 ноября 1824 года, — первая из катастроф, которые пришлись на пушкинский век; великое наводнение стало их прообразом, начальным звеном в синонимической цепи. Осенью 1830 года, в дни холеры, Вяземский поминает петербургский потоп и страхи Шварценберга в письме К. Я. Булгакову, и примерно в это же время до него доходят слова некоего подмосковного священника, «впрочем, благоразумного и далеко не безграмотного»: «Воля ваша, а по моему мнению, эта холера не что иное, как повторение 14 декабря».

«Подробности наводнения, — говорится в Предисловии к поэме, — заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом». Автор косвенным образом дает понять, что в злополучный день он отсутствовал в Петербурге. (Наверное, Пушкин знал, кого еще не было в столице 7 ноября, — к примеру, Вяземского, а также будущего государя: Николай Павлович находился тогда в Берлине, откуда вернулся в середине ноября<sup>6</sup>.) Кроме того, усиленно акцентируя невыдуманный характер сво-

его *рассказа*, он явно желал отмежеваться от многочисленных современных описаний потопа — будь то одические упражнения автора «Петропольских ночей» (СПб., 1832) Ф. Я. Кафтарева («Вдали за валом вал восходит, И с шумом бьются об утес; Их стон уныние наводит, Порой влечет истоки слез...») или аллегории в духе швейревского «Петрограда», написанного в 1829 году («Море спорило с Петром: „Не построишь Петрограда, Покачу я шведский гром, Кораблей крылатых стадо...“»). Как раз в 1833 году, когда был создан «Медный всадник», к теме наводнения обращались особенно часто. В середине февраля появилась историческая повесть К. П. Масальского «Черный ящик» (из петровской эпохи): «Из этого океана являлись, как привидения в развешивающихся белых саванах, кипящие пеною волны и, шумя, бежали к дому. От ударов их стена начала дрожать. Никитин как живописец на несколько времени забылся и смотрел на эту картину с ужасом, смешанным с наслаждением». 24 октября 1833 года получил цензурное разрешение альманах М. А. Максимовича «Денница», в котором увидела свет новелла В. Ф. Одоевского «Насмешка мертвеца»: «Вот уже колеблются стены, рухнуло окошко, рухнуло другое, вода хлынула в них, наполнила зал; вот в проломе явилось что-то огромное, черное... Не средство ли к спасению? Нет, черный гроб внесло в зал, — мертвый пришел посетить живых и пригласить их на свое пиршество!»

Упомянем еще о двух текстах, написанных в конце 1833 года — одновременно с «петербургской повестью» Пушкина. Владимир Сергеевич Печерин, выпускник столичного университета, сочинил мистерию «Pot-pourri, или Чего хочешь, того просишь»; предназначавшаяся для чтения в узком дружеском кружке, она была опубликована Герценом в «Полярной звезде» (1861, кн. 6) под заглавием «Торжество смерти». (Печерин, навсего покинувший Россию летом 1836 года, вскоре принял католичество и стал священником.) В этой мистереии выведена Немезида, которая, «потрясая бичом», возглашает: «Ветры, море обхватите, Море к небу всколыхните, Вдуйте волны, подымите И, как горы, покатите На преступный этот град, Где оковы, кровь и смрад!»

Полную противоположность к сочинению Печерина составляет обстоятельная «Панорама Санкт-Петербурга» А. П. Башуцкого — свод разнообразнейших документальных сведений о столице и ее истории. В конце января 1834 года вышла вторая часть, где автор, очевидно: наводнения 7 ноября, описал его довольно подробно: «Вскоре вода брызнула из подземных труб, потом хлынула через гранитные затворы рек и каналов и с смутным шумом, широкими волнами полилась по улицам <...> Зимний дворец, как скала, стоял среди бурного моря, выдерживая со всех сторон натиск волн, с ревом разбивавшихся о крепкие его стены и орошавших их брызгами почти до верхнего этажа; на Неве вода кипела, как в котле, и с неимоверной силой обратила вспять течение реки; набережные дома казались парусами кораблей, нырявших среди волн; все мосты были сорваны и разнесены на части...» (27, ч. 2, 50—51)<sup>7</sup>.

Именно о документальном подходе к теме объявлено в Предисловии к «Медному всаднику»; избран же был — квазидокументальный.

Возникновение замысла «петербургской повести» относят ко второй половине 1820-х годов. В жизни Пушкина тех лет есть период, выделенный уже его первым биографом. Весной 1828 года, по словам Павла Васильевича Анненкова, «существование Пушкина делается прерывистым и беспокойным».

В мае он дважды участвовал в морских прогулках в компании Олениных; во второй раз к ним присоединился Вяземский. В Кронштадт, писал он жене, «поехали мы при благоприятной погоде; но на возвратном пути, при самых сборах к отплытию, разразилась такая гроза, поднялся такой ветер, полил такой дождь, что любо. Надобно было видеть, как весь народ засуетился, кинулся в каюты, шум, крики, давка; здесь одна толстая англичанка падает с лестницы, но не в воду, а на пол, там француженку из лодки тащат в окошко...» Кому-то, наверное, вспоминался потоп 1824 года, Пушкину — рассказы о нем. На пароходе «Пушкин дуется, хмурится, как погода, как любовь» (140, т. 58, 80).

Здесь же был и Адам Мицкевич. Пушкин особенно часто встречался с ним весной и летом 1828 года. Тогда же, вероятно, и состоялась прогулка трех поэтов, о которой на склоне лет вспомнил Вяземский, перечитывая «петербургскую повесть». Отметив на полях стих: *Россия вздернул на дыбы?*, он приписал: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что этот памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед» (121, 40).

7 июня 1828 года Вяземский отбыл в старую столицу, где Погодин, как всегда, вел долгие московские споры с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым. «Петр прорубил окошко, а Аксаков его заколотит» (24, 315), — отмечено в погодинском дневнике этого времени. Крылатая фраза Франческо Альгаротти давно уже отделилась от его книги «Письма из России» (1739); в 1826 или 1827 году, перебеляя главу из «Онегина», Пушкин занес в рабочую тетрадь ее французский перевод: «Петербург это окно, через которое Россия смотрит в Европу» (6, 505).

Пушкин оставался в Петербурге до 19 октября 1828 года, потом уехал в Малинники, где закончил «Полтаву».

Прошло сто лет — и что ж осталось  
От сильных, гордых сих мужей...

«Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, — писал позже Пушкин в одной из незавершенных статей, — и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» (XI, 269). Так намечается логическая связь «Полтавы» и Вступления к «Медному всаднику»; но для «петербургской повести» был нужен новый герой и новый сюжет.

Примерно в середине марта 1832 года была начата поэма в «онегинских строфах». Ее герой Иван Езерский, носивший фамилию, блиставшую «в века старинной нашей славы», — рядовой чиновник, который «жалованьем жил и регистратором служил». В начальных строках эскизно очерчена и тема наводнения:

Над омраченным Петроградом  
Осенний ветер тучи гнал,

Дышало небо влажным хладом,  
Нева шумела...

Поэма, впрочем, осталась незавершенной<sup>8</sup>.

22 июля 1833 года в Россию из заграничного путешествия вернулся Сергей Александрович Соболевский. Он привез с собой четыре тома парижского издания «Стихотворений Адама Мицкевича» (1832); последний том (запрещенный к ввозу в Россию) включал поэму «Дзяды», писавшуюся отдельными частями, и цикл «Отрывок» — из семи стихотворений. Три из них Пушкин переписал в свою рабочую тетрадь — «Олешкевич», «Русским друзьям» и «Памятник Петра Великого» (последнее стихотворение было переписано только наполовину).

Во всех произведениях, составивших четвертый том, отразилась ненависть Мицкевича к российскому государству, насильственно удерживающему Польшу в своих пределах. («...Он точно имел сочувствие к русским, — вспоминал Вяземский в письме П. И. Бартенеу от 6 марта 1872 года, — но как поляк не любил России, которая уничтожила Польшу». — 273, л. 146 об.) Пушкин совершенно иначе трактовал русско-польский конфликт, и именно ему и Жуковскому, печатно приветствовавшим разгром конфедератов и взятие Варшавы в 1831 году, адресованы инвективы Мицкевича в стихотворении «Русским друзьям»: «Быть может, кто-нибудь из вас, чином, орденом обесславленный, Вольную душу продал за царскую ласку И теперь у его порога отбивает поклоны. Быть может, продажным языком славит его торжество И радуется страданиям своих друзей...»

Эти строки Пушкин выписал для себя. Для будущей же поэмы существенный интерес представляли не только описание дня, предшествовавшего наводнению 1824 года («Олешкевич») и монолог некоего русского поэта у Фальконетова монумента («Памятник Петра Великого»), но прежде всего, как полагает новейший исследователь, сама сюжетная ситуация, потенциально присутствующая в стихотворении «Петербург», не переписанном в пушкинскую тетрадь. «Человек грозит камню! Спрессованное в шести строчках у Мицкевича пове-

дение пилигрима Пушкин развернул в целую „Часть вторую“» (270, 405) <sup>9</sup>.

Чтение или, лучше сказать, изучение «Отрывка» Мицкевича — хронологически последний из известных нам эпизодов творческой «предыстории» «Медного всадника». 17 августа 1833 года он выехал из Петербурга в путешествие по местам пугачевского бунта. 20 августа он писал жене: «Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. <...> Нева была так высока, что мост стоял дыбом <...> В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами <...> Что-то было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? что, если и это я прогулял? досадно было бы» (XV, 71—72).

1 октября Пушкин вернулся в Болдино. 6 октября начал работать над поэмой. Сохранилась и заключительная помета на рукописи «Медного всадника» — «31 октября 1833. Болдино. 5 ч (асов) 5 м (инут утра)».

---

## «СУДЬБА С НЕВЕДОМЫМ ИЗВЕСТИЕМ...»

---

Весь болдинский урожай на этот раз был назначен Александру Филипповичу Смирдину, давнему деловому партнеру, который с 1834 года открывал «Библиотеку для чтения» — первый в России «толстый» журнал энциклопедического характера. Пригласив в редакторы О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса), Смирдин остался за собой переговоры с авторами: он — также впервые — установил твердый и вместе гибкий гонорарный принцип. Рядовые сотрудники получали по 200 рублей за лист оригинального текста, по 70 — за лист переводного. Авторские ставки Пушкина, Крылова, Дениса Давыдова и некоторых других писателей (которым выплатили по тысяче рублей за право объявить их имена на обложке журнала) были значительно выше и оговаривались отдельно.

Начинался «смирдинский», или «торговый», период русской словесности.

Александру Бестужеву, снискавшему литературную славу под псевдонимом А. Марлинский, Смирдин предложил 300 рублей за лист прозы. Бестужев затребовал 500; в итоге они сошлись на 5000 в год за 12 листов.

Пушкин тоже выставил жесткие условия. В начале декабря 1833 года, после встречи с Пушкиным, Смирдин жаловался Василию Дмитриевичу Комовскому, просвещенному чиновнику и литературному агенту поэта Языкова: «... это три пьески, в которых-де трех печатных листов не будет, требует Александр Сергеевич 15 000 руб.!» Комовский запомнил два названия — «Медный всадник» и «Холостой выстрел», «одна из этих пьес прозой, другая в стихах» (111, 538). «Холостой выстрел» — это «Пиковая дама», напечатанная в мартовском томе «Библиотеки для чтения» за 1834 год; третья же «пьеса», о которой шел разговор, — «Анджело» (весной 1834 года она увидела свет во второй части смирдинского альманаха «Новоселье»).

Стелаясь о своем ближайшем участии в «Библиотеке для чтения», Пушкин предполагал узаконить уже сложившийся порядок вещей, при котором он не «беспокоил» Николая I — своего «единственного цензора» — по поводу каждой публикации. 6 декабря 1833 года, препровождая на высочайшее рассмотрение рукопись «Медного всадника», Пушкин писал А. Х. Бенкендорфу: «Книгопродавец Смирдин издает журнал, в коем просил меня участвовать. Я могу согласиться только в том случае, если он возьмется мои сочинения представлять в цензуру и хлопотать об них на равне с другими писателями, участвующими в предприятии; но без Вашего сведения я ничего не хотел сказать ему решительно» (XV, 97—98). Одновременно — уже вне связи с текущими журнальными делами — Пушкин испрашивал разрешения представить государю «Историю Пугачева».

12 декабря Бенкендорф в личной беседе уведомил Пушкина о том, что его произведения, намеченные для смирдинского журнала, могут цензуроваться на общих основаниях; было сообщено также о согласии Николая I прочитать «Историю Пугачева». Во время этой аудиен-

ции Пушкин получил обратно рукопись «петербургской повести».

Девять карандашных помет, сделанных Николаем I, хорошо различимы (3, 66—68; 100, 522—523).

Вычеркнуто четыре стиха из Вступления: *И перед младшею столицей Померкла старая Москва Как перед новою царицей Порфироносная вдова;*

трижды подчеркнуто, отчеркнуто на полях и сопровождено значками «NB» и «?» слово «кумир» (*Кумир на бронзовом коне...— Кумир с простиертою рукою...— Кругом подножия Кумира...*);

подчеркнуты и отчеркнуты на полях стихи: *Во мраке медною главой, Того, чьей волей роковой;*

подчеркнут стих: *Россию поднял на дыбы?*, который вместе с тремя предшествующими (*О мощный властелин Судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте уздой железной...*), отчеркнут на полях и сопровождается значком «NB»;

подчеркнуты и сопровождаются значком «NB» словосочетания *Горделивым истуканом* и *строитель чудотворный*.

Наконец, отчеркнуты на полях пятнадцать строк:

«Добро, строитель чудотворный! —  
Шепнул он, злобно задрожав,—  
Ужо тебе!..» . . . . .

И озарен луною бледной,  
Простиерши руку в вышине,  
За ним несется Всадник Медный...

14 декабря Пушкин записал в дневник: «Мне возвращен Медный всадник с замечаниями государя. Слово *кумир* не пропущено высочайшею ценсурою; стихи

И перед младшею столицей (...) \*  
вымараны. На многих местах поставлен (?),— все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным» (XII, 317).

\* Пушкин перенес в дневник все четыре стиха, «вымаранных» из Вступления.

Исследователи, анализировавшие пометы на пушкинской рукописи, сходятся в главном: Николай I обнаружил «восстание» ничтожного героя против «виновника» его несчастий (4, 221); он угадал, что поэма может звучать «не как апофеоз самодержавия, а как оправданное восставшей личности» (13, 364). Однако подобное восприятие «Медного всадника» свойственно более поздней эпохе, когда мотивы и образы «петербургской повести» сложились в обобщенно-символическую картину. Люди же 30-х годов ощущали не метафорический уровень поэмы, а ее злободневный смысл. Описание петербургского потопа и его последствий непосредственно выводило читателей к дискуссиям о «древней» и «новой» России.

Четыре строки, удаленные «высочайшим цензором» из текста Вступления, напоминали к тому же об утраченном старшинстве Москвы в столичном чине. Эта тема весьма занимала Пушкина в середине 30-х годов. «Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга,— писал он в «Путешествии из Москвы в Петербург» (начатом как раз болдинской осенью 1833 года).— Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом» (XI, 247). В «Медном всаднике» противопоставление «младшей столицы» и «старой Москвы» было заострено аналогией с августейшими особами. Это само по себе выглядело неуместным; вдобавок, титулуя Москву «порфироносной вдовой»<sup>1</sup>, Пушкин использовал лексику анти-петербургских сочинений, хорошо известных современникам поэта — но до нас дошедших далеко не в полном объеме.

Вот, к примеру, стихотворение одного из студентов Петербургского университета, много позже извлеченное из его тетради. Написано оно почти одновременно с пушкинской поэмой (и, разумеется, совершенно независимо от нее); самое любопытное, что автор этого опуса — в будущем глава западнического кружка 40-х годов, профессор Московского университета Тимофей Николаевич Грановский.



## МОСКВА

Прекрасна ты в одежде вековой,  
Царица-мать земли моей родной.  
Как гроб костей, ты дел былых полна;  
Но где ж они, кем ты была сильна?  
Державный град на севере стоит;  
У ног его седое море спит;  
Порой оно подьмлет голос свой  
И берег бьет широкою волной.  
Но дивный град стоит неодолим  
И море вновь стихает перед ним.  
Когда б взглянул на ряд гробов твоих,  
На ветхий Кремль, на сонм церквей святых,  
То со стыда в нерусскую Неву  
Венчанную сокрыл бы он главу!  
Прекрасна ты в одежде вековой,  
Царица-мать земли моей родной! (211, 27)

Государь, по вероятности, уловил общую «подоснову» четырех строк из Вступления и толков о неестественном местоположении столицы, возобновившихся после наводнения 1824 года (54, 167). Своеобразный комментарий к пометам Николая I, сделанным на полях пушкинской рукописи, дал в своих отрывочных записках Николай Михайлович Смирнов, один из первых читателей пушкинской поэмы.

Пушкин довольно коротко (на «ты») сошелся со Смирновым в 1832 году, после его женитьбы на фрейлине Александре Осиповне Россет («черноокой Россети»). Избрание Смирнова в члены столичного Английского клуба Пушкин отметил в своем дневнике: «Это, впрочем, делает ему честь — он не министр и не обер-полицмейстер. И знак уважения к человеку частному должно быть ему приятно» (XII, 323). Смирнов был, что называется, на виду и, оставаясь «добрым малым», хотя и недалекоим, постепенно шел в гору (позднее он стал губернатором в Калуге и в Петербурге).

В записи, относящейся к ноябрю — декабрю 1834 года, Смирнов коснулся взаимоотношений поэта с Николаем I. «Сердится также иногда и Пушкин за непропуск некоторых слов, стихов, но по воле высшей переменяет

слова и стихи, без всякой, впрочем, потери для себя и публики. Не знаю почему, только, верно, из каприза лишает он в сию минуту нас поэмы «Медный всадник» (монумент Петра Великого), ибо те поправки, которые царь требует, справедливы и не испортят поэму, которая, впрочем, слабее других. Я видел сию рукопись; Пушкин заставляет говорить одного сумасшедшего, грозя монументу: «Я уж тебя, истукан»; государь не пропускает сие место вследствие и очень справедливого рассуждения: книга печатается для всех, и многие найдут неприличным, что Пушкин заставляет проходящего грозить изображению Петра Великого, и за что, за основание [столицы]<sup>2</sup> на месте, подверженном наводнениям. Государь, зная, что Пушкин очень знаком с женою (...), часто говорит с нею об нем и передает свои мнения через нее. Он прислал ей сей манускрипт с своими замечаниями, и точно, все были дельные...» (46, 7).

Хотя здесь допущена одна фактическая неточность (рукопись «Медного всадника» вернулась к Пушкину через Бенкендорфа, а не Смирнову), очень вероятно, что Смирнова действительно слышала высказывание Николая Павловича о поэме — но при каких-то иных обстоятельствах. Пометы же государя на рукописи мог показать чете Смирновых только сам Пушкин: и как раз 14 декабря 1833 года, когда в его дневнике появилась запись о «высочайшем» чтении, он нанес визит в этот дом (XII, 317)<sup>3</sup>. Видимо, с тех пор Смирнов и запомнил отдельные выражения, вызвавшие неудовольствие Николая I: «Ужо тебе!..» и «истукан».

Итак, на взгляд государя, в пушкинской поэме введен «один сумасшедший», который оскорбляет память великого преобразователя России; здесь нет и не может быть никакого конфликта, есть описание «неприличной выходки» — еще более неприличной, чем реприманд графини Толстой. И Николай I потребовал, чтобы из текста поэмы, которая «печатается для всех», был снят бессмысленный упрек Петру Великому, основателю столицы «на месте, подверженном наводнениям».

На рукописи «Медного всадника», вернувшейся к автору, отсутствует резолюция. Деталь, которая теперь

кажется маловажной: считается, что замечания Николая I повлекли за собой «если не формальное, то фактическое запрещение» поэмы (4, 219).

Но казуистический нюанс, повторим пушкинское выражение, «делает большую разницу». Смирнов проявил, конечно, замечательную наивность, говоря, что Пушкин, «верно, из каприза» отказывается исправлять свою поэму; но как бы то ни было, право на ее публикацию — пусть в урезанном виде — у автора сохраняется.

Между тем Пушкин не мог не сознавать, что у «петербургской повести» вряд ли был шанс пройти через общую цензуру. Недаром Смирнов специально оговорил: «...цензор был бы еще строже царя» (46, 7). После того, как в марте 1833 года министром народного просвещения стал С. С. Уваров, резко ужесточивший контроль над литературой, цензоров обязали выискивать подвохи и намеки. И можно предположить, что сакраментальный эпизод из второй части («Ужо тебе!..») сам по себе повлек бы безусловное запрещение поэмы.

Похоже, что, подавая Николаю I рукопись «Медного всадника», Пушкин имел в виду не только публикацию поэмы в первом же томе «Библиотеки для чтения». Мечтая избавиться от «высочайшей цензуры», стеснявшей его литературное существование, он в данном случае должен был предпочесть «царя» — «псарю». Впрочем, как резонно отмечено в новейшей работе, у Пушкина и не оставалось другого выхода: если бы он подал рукопись, явно не укладывающуюся «в рамки общепринятого», обычным порядком, то есть в обход «высочайшего цензора», — последний мог увидеть в этом «знак нелояльности» автора. Пушкин пошел по «единственно возможному» пути, который «одновременно — редкий случай! — казался и наиболее выигрышным» (23, 111—112). Расчет, наверное, был сделан на то, что Николай окажется не столь внимательным, не столь подозрительным, не столь мелочным, как запуганный Уваровым цензор. Вот характерная деталь. В примечаниях к поэме Пушкин говорит о Мицкевиче, который «прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению». Николай I не обратил

внимания на это место (возможно, он и не заглядывал в примечания), но цензора могла бы насторожить ссылка на Мицкевича, имя которого было в то время полузапретным (9, 468).

Николай I «оправдал» далеко не все надежды Пушкина. Но и не отнял их полностью. Другое дело, что Пушкин не входил в подробности, когда касался этой темы на бумаге, да и в его переписке встречаются лишь три упоминания о «петербургской повести». В середине декабря 1833 года извещен П. В. Нащокин: «...Медного всадника цензура не пропустила. Это мне убыток» (XV, 99). К тем же выражениям Пушкин прибегнул в письме Нащокину от конца марта 1834 года: «Медный всадник не пропущен — убытки и неприятности...» (XV, 118). 7 апреля 1834 года с оказией было послано письмо М. П. Погодину: «Вы спрашиваете меня о Медном всаднике, о Пугачеве и о Петре. Первый не будет напечатан» (XV, 124).

Оба эти адресата — москвичи, с которыми Пушкин не виделся с середины ноября 1833 года; возвращаясь из Болдино, он несколько дней провел в старой столице. Он квартировал на Остоженке, у Нащокина, который, по выражению М. А. Максимовича, «был его монополистом» (Пушкин, посвященный в сердечную смуту своего друга, склонял его жениться вторично). «Никто из пишущей братии не поживился» гостем «и его уральским златом», — сетовал Максимович в письме Вяземскому, а простодушный Петр Киреевский объяснял Н. М. Языкову, что Пушкин в этот приезд сторонился людей, поскольку «ехал с бородой, в которой ему хотелось показаться жене». Но как явствует из приведенного письма от 7 апреля 1834 года, Погодин (давний друг Максимовича и семьи Елагиных-Киреевских) оказался удачливее других москвичей.

В Болдино Пушкин жил в полном уединении, и, таким образом, Нащокин и Погодин — первые читатели или слушатели его «петербургской повести».

Вернувшись домой, Пушкин отнюдь не спешил знакомить друзей со своими новыми вещами. 23 декабря 1833 года, спустя месяц после его приезда, Вяземский

сообщал И. И. Дмитриеву (обиженному на Пушкина, который «не удостоил» старого поэта «свиданием» в Москве): «Пушкин привез с собою несколько тысяч новых стихов, в двух или трех маленьких поэмах, и поделится с нами своею странническою котомкою». Среди других столичных литературных новостей, о которых уведомлял Вяземский, — скорое «пришествие нового журнала Смирдина», шумный успех «Фантастических путешествий» Барона Брамбеуса и, наконец, расторопность поэта и драматурга Егора Федоровича Розена. «Государь был очень доволен трагедиею барона Розена «Россия и Баторий». Желая видеть ее на сцене, требовал он некоторых перемен, и Розен уже перекроил трагедию свою на новый лад. Вот что значит немецкое трудолюбие!» Не все, о чем мог рассказать Вяземский, ложилось в письмо. Он и Жуковский, по всей вероятности, знали о том, что государь ознакомился не только с драмой Розена, но и с «петербургской повестью» Пушкина. Однако сами они в уходящем году ее не услышат.

Около 20 декабря Гоголь отвечал М. А. Максимо-вичу, просившему присылать материалы для очередного тома альманаха «Денница»: «Я говорил Пушкину о стихах. Он написал путешествуя две большие пьесы, но отрывком из них давать не хочет, а обещался написать несколько маленьких...»<sup>4</sup>

Похоже, что друзья Пушкина довольствовались такой же скудной информацией, как и вся читающая публика. В первом томе «Библиотеки для чтения» Н. И. Греч напечатал обозрение русской литературы за 1833 год, где среди прочего сообщалось: «А. С. Пушкин, во второй половине сего года, ездил в Оренбург для собиранья на месте некоторых сведений, нужных для его исторического труда. Между тем написал он, как я слышал, три новые поэмы и несколько мелких стихотворений» (78, 175). 4 января 1834 года, через несколько дней после того, как этот том поступил к подписчикам, Вяземский писал А. И. Тургеневу в Италию: «Поздравляю тебя с наступлением нового года нашего, разродившегося — знаешь чем? Вечно не отгадаешь! Камер-юнкерством Пушкина. Он возвратился из степ-

ной поездки своей и навез много стихов, которых я еще не читал, в ожидании чтения у Жуковского» (179, т. 3, 253). К Жуковскому на «олимпийский чердак» в Шепелевском дворце сходились по субботам Вяземский, Владимир Федорович Одоевский, Петр Александрович Плетнев, Гоголь, братья Михаил и Матвей Юрьевичи Виельгорские; бывали Крылов, усердный Розен (которому хозяин помогал переделывать пьесу «Россия и Баторий» в «Осаду Пскова»), сыновья Карамзина — Андрей и Александр, и другие.

Не сохранилось никаких сведений о чтении «Медного всадника» в этом обществе. У Пушкина, конечно, были причины предельно ограничить круг слушателей поэмы, вызвавшей «высочайшие» нарекания: в 1826 году он получил строгий выговор от Бенкендорфа за то, что читал «Бориса Годунова» до того, как представил трагедию государю. Выше говорилось, что скорее всего Пушкин показывал рукопись поэмы чете Смирновых, но тут был особый случай — Александра Осиповна пользовалась доверенностью государя, и, если верить ее мужу, она оповестила автора о предложениях «высочайшего цензора».

Можно только предполагать, что в начале 1834 года «петербургская повесть» стала известна ближайшим друзьям. Тем, кому она прежде всего адресовалась.

Была ужасная пора...

Об ней начну повествованье  
И будь оно, *друзья, для вас*  
Вечерний, страшный лишь рассказ,  
А не зловещее преданье...

В конце января 1834 года Николай I разрешил печатать «Историю Пугачева». «Историю господина Пугачева», как выразился Жуковский, который к 29 января уже прочел эту рукопись.

Высочайшее чтение «Медного всадника» совпало с «эмблематической» реформой, которая прямо касалась памятника Петру I. 30 ноября 1833 года Пушкин написал: «...при открытии Александровской колонны, говорят, будет 100 000 гвардии под ружьем» (XII, 316).

Фальконетов монумент увековечил наравне с Петром I — Екатерину II.

Когда б устроил бог, творец земного чина,  
Чтоб ранее Петра жила Екатерина,  
В то время бы сия предивная гора  
Екатерину нам являла, не Петра.

Эти стихи Д. И. Хвостова, написанные в 1782 году, любопытны своей неоригинальностью, безусловной верностью устойчивому канону, который искал уже европейского распространения. Десятилетие спустя, в 1793 году, в одном из петербургских журналов был напечатан перевод латинской «надписи», сочиненной «в Германии Гиртбергских училищ Ректором Карлом Лудовиком Бауэром»:

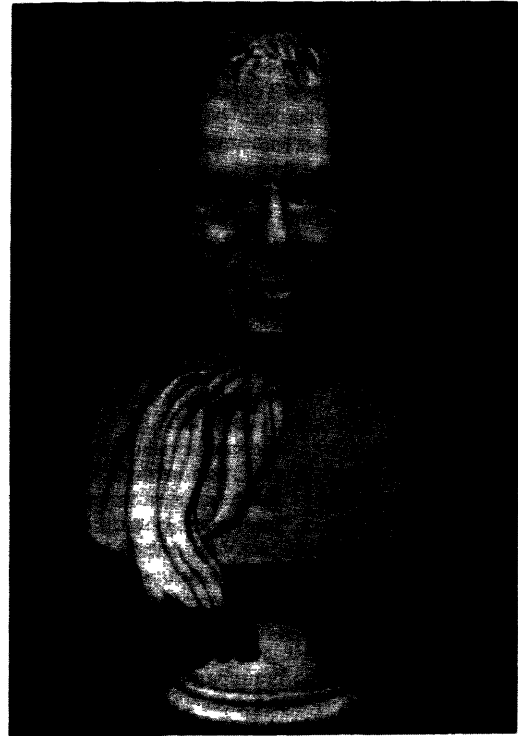
Развернем убо нутрь, о граждане, земную,  
И равного и Ей подножия поищем:  
Поверьте, сыщется подобная скала,  
На коей равное *Петру Екатерины*  
Изображение священо вознесется.

Рефлекс этой традиции обнаруживаем даже в поэзии второй половины XIX века. В сборнике Л. Бутовского (1871) есть такое четверостишие:

*Вторая Первого* здесь памятью почила,  
Здесь отдан Гению от Гения почет;  
Здесь миру целому *Великая* явила —  
Над дикою скалой *Великого* полет!

Именно идея «равновеликости» Петра и Екатерины была враждебна сознанию Николая I, который от своих родителей — Павла I и императрицы Марии Федоровны — воспринял глубокую неприязнь к бабке. («Я так рад, что у меня общего с этою женщиною только профиль лица», — говорил он в 1829 году графу С. Г. Строганову. — 210, 115). Это не было тайной для подданных. «При Николае, — вспоминал позднее П. И. Бартенев, — похвала ей (Екатерине II) чуть не возбуждала цензурных преследований, и современные портреты, изображающие сцены ее возведения на престол, были нарочно вынесены в заднее помещение одного из петербургских зданий». Вкусам царя особенно потрафил военный историк А. И. Михайловский-Данилевский: его сочинение, посвященное кампании 1799 года, называли холопским, «написанным с целью унижить Екатерину II».

Николаю I вообще претила вызывающая неупоря-



Этьен-Морис Фальконе. 1716—1791

доченность русской истории XVIII века. Профессор К. И. Арсеньев, обучавший наследника (будущего Александра II) истории, по слухам, получил такую инструкцию: «Русскую преподавать до Петра, а с Петра я сам буду учителем» (228, 202). Фраза вполне в стиле государя, но, разумеется, преподавать историю России XVIII века он бы не смог. Занятия с наследником вел

Арсеньев, который, благодаря своему статусу, разведал некоторые государственные секреты. В частности, ему было показано архивное дело о смерти царевича Алексея Петровича, замученного в Трубецком раскате в 1718 году (254, 72).

«Отменить» Фальконетов монумент — уволить его в отставку заодно со сподвижниками Екатерины — хотел еще Павел I: в 1800 году он приказал установить перед своей новой резиденцией, Михайловским дворцом, конную статую Петра (работы Б.-К. Растрелли), некогда отвергнутую Екатериной. Недолгий фавор не прибавил, впрочем, этой статуе сколько-нибудь популярности: из русских писателей, кажется, только Андрей Белый (в романе «Петербург») нашел доброе слово для этого несчастливого создания: «...проезжие посетители Петербурга этой статуе не уделяют внимания <...> великолепная статуя!»

Николай I не унаследовал сумасбродства своего отца, и демаршей, могущих напомнить о фамильной розни, он не предпринимал. Фасад империи подновлялся аккуратно; сохранялось, в частности, описательное клише, заученное наизусть уже целым поколением. «Пред Сенатом возвышается гениальное произведение Фальконета, монумент, равно достойный того, кому воздвигнут, и той, кем воздвигнут» (27, ч. 2, 128).

Замысел государя был тоньше. В начале 1830-х годов была затеяна постройка грандиозной колонны, которая растянулась на несколько лет. В октябре 1831 года начинающий литератор И. В. Росковшенко, только что перебравшийся в столицу из Харькова, сообщал своему другу: «Да, здесь будет воздвигнут памятник Александру Павловичу перед Зимним дворцом; он будет состоять из колонны гранитной; эта ужасная громада имеет в диаметре 12 футов, а в высоту 84 фута. <...> Нынешний государь чрезвычайно украшает Петербург огромнейшими зданиями, каких в Москве нет, и, я думаю, нигде» (215, 481).

Москва помянута здесь вскользь, но не случайно. Некогда равных не было московской колокольне Ивана Великого, и закладка (в 1768 году) Исаакиевского собора вызвала болезненную реакцию многих русских

дворян. Журнал «Живописец», который издавал Н. И. Новиков, опубликовал пародийные «Письма уездного дворянина» (к сыну Фалалею): негодование этого персонажа распространялось и на новую затею петербургской «некрести»: «Колокольню строят и хотят сделать выше Ивана Великого, statoшное ли это дело; то делалось по благословению патриаршему, а им это как сделать». Александровская колонна еще выше, чем Исаакиевский собор, возвышала Петербург над Москвой.

29 августа 1832 года на Дворцовой площади была воздвигнута гранитная скала, доставленная из Финляндии. В многолюдной толпе, созерцавшей зрелище, находились восемнадцатилетний Лермонтов (приехавший в Петербург продолжать учение) и Вяземский, который за месяц до того соблазнял Дмитриева: «Нам обещают новую оду Хвостова на сооружение колонны <...>. Вот, ваше высокопревосходительство, приезжайте на этот праздник, т. е. не на оду, а на колонну». В сентябре Вяземский послал Дмитриеву гостинец — историческую щепочку из подмостка, разодранного Колонно, когда тащили ее и ставили.

Памятник Александру задумали водрузить сразу же после его смерти, и тогда в сенате произошла баталия — большинство присутствующих забракowało надпись «Благословенному Александру I», предложив взамен иную: «Александру I — Россия». Для строящейся колонны, которая должна была увенчаться изображением ангела (так, кстати, именовали покойного императора в семейном кругу), Николай Павлович выбрал эту надпись, установив окончательную редакцию: «Александру I — благодарная Россия». Стихотворцам представился повод вволю разгуляться («По-русски брата царь прославил...» и т. п.), а людям осведомленным — про себя усмехнуться, поскольку сам Николай I отнюдь не испытывал чувство благодарности по отношению к старшему брату. Перефразируя известное высказывание, которое в 1855 году умирающий Николай адресовал своему сыну, можно сказать, что Александр Павлович тоже «сдал команду не в полном порядке». И Николаю I пришлось взять крутые меры, чтобы его подданные и соседи прониклись истинным трепетом к сану российского импе-

ратора. От наблюдательного и злоязычного Кюстина, который посетил Россию в 1839 году, не укрылся тот факт, что «воспоминание о покойном императоре здесь теперь не очень поощряется, и это согласуется с общей политикой — забывать о предшествующем царствовании. Петр Великий гораздо ближе императору Николаю, чем его брат Александр, и потому еще Петр теперь в большой моде» (130, 93). Николай I действительно поклонялся Петру, стремился ему подражать... но не ставить же в столице третий памятник ее основателю?

30 августа 1834 года (в день именин Александра I) с чрезвычайной помпезностью состоялось открытие колонны — самого высокого сооружения в мире (47,5 метра против 46,5 — Вандомской колонны в Париже). В виду ее сработала одическая инерция полувекковой давности. Николай I принял позу, в которой изображалась Екатерина II в 1782 году.

Сей памятник огромный горделивый  
Благословленному поставлен был  
И Николая век счастливый  
Собою сам ознаменил.

Ивану Сергеевичу Тургеневу, автору этого стихотворения, было тогда шестнадцать лет, и он чутко воспринимал злободневные мотивы<sup>5</sup>.

Официальный же отчет о празднике открытия заключал в себе новую идеологическую программу. «Воспоминание о торжестве 30-го августа 1834 года», появилось 8 сентября в «Северной пчеле».

«Чему надлежало совершиться в России, чтобы в таком городе, такое собрание народа, такое войско могло соединиться у подножия такой колонны?.. Там, на берегу Невы, подымается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник, столь же почти огромный, как сама она; и этот всадник, достигнув высоты, осадил могучего коня своего на краю стремнины; и на этой скале написано Петр, и рядом с ним Екатерина; и в виду этой скалы воздвигнута ныне другая, несравненно огромнее, но уже не дикая, из безобразных камней набросанная громада, а стройная, величественная, искусством округленная колонна (...) и на высоте ее уже не



Ф Руссло  
Иллюстрация к парижскому изданию 1979 г  
(перевод Л. Швейцер)

человек скоропребоящий, а вечный сияющий ангел, и под крестом сего ангела издыхает то чудовище, которое там, на скале, полураздавленное, извивается под копытами конскими (...). И ангел, венчающий колонну сию, не то ли он знаменует, что дни боевого создания для нас миновались (...) что наступило время создания мирного; что Россия, все свое взявшая, извне безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страх, а страж породнившейся с ней Европы, вступила ныне в новый великий период бытия своего, в период развития внутреннего, твердой законности, безмятежного приобретения всех сокровищ общезнания...».

Дикому, героическому периоду русской истории отныне надлежало контрастно оттенять нынешнее, цивилизованное величие империи. Соответственно, «безобразная» скала на берегу Невы не могла более служить архитектурной эмблемой столицы — в этом качестве была провозглашена Александровская колонна.

Статья эта, удовлетворявшая Николая I, который преследовал прагматическую цель, — принадлежит не наемному перу. Ее автором был Жуковский (воспитатель наследника), который вообще не писал под диктовку: когда он держался противоположных с императором мнений, он это не скрывал. Как раз летом 1834 года, беседуя с наследником о Екатерине II, Жуковский дал ей оценку, расхваливая ее с насаждаемым при дворе взглядом: «Все упреки, которые она заслуживает от потомства, падают на нее от первого ее шага, принужденного, но не правого. (...) Сколько ж зато с другой стороны и великого» (105, 231). В 1830-е годы и Пушкину случалось высказываться о Екатерине в таком же духе (см.: 46, 9; ср.: 179, т. 4, 13).

Другое дело, что Жуковский усматривал в новейшей русской истории четкое разделение на два периода: *войны и мира*. В первом свершались «дела славы»; второй, наступивший после разгрома Наполеона, требует «дел правды». Все необходимые победы, писал Жуковский в 1842 году, Россия уже одержала, и лучше существующих границ «выдумать ей невозможно». Двигателем же русской истории теперь должен быть «тихий ход благотворящей правды» (94, 362). Эта умозри-

тельная концепция, выдвигавшая «безмятежное общезнание» как идеал русской жизни, была чужда Пушкину. Петровский замах, который казался Жуковскому губительным для современности, он искал в Николае I. «Обаяние торжествующей силы», по словам Г. П. Федотова (243, 183), имело власть над Пушкиным, и, вероятно, статичная колонна, увенчанная ангелом, проигрывала в его глазах творению Фальконета.

Ужасен он в окрестной мгле!  
Какая дума на челе!  
Какая сила в нем сокрыта!

Декретированная перемена так и не воспоследовала. Очень скоро обнаружилось, что Александровская колонна — всего только новый монумент, украсивший столицу, а Медный всадник — по-прежнему ее символ, «самое замечательное чудо чудесного Петербурга» (180, 230).

Архитектурное новшество не одобрила Анна Петровна Толстая, которая накрепко запретила своему кучеру появляться около колонны: «Неровен час, свалится она с подножия своего».

Подобно неудачливому претенденту, не выдержавшему конкуренции, Александровская колонна стала объектом насмешек: нередко — злых, а иногда и несправедливых. Художник Л. М. Жемчужников, уверял, например, что «ангел оказался с трех сторон без головы, которая видна лишь из дворца».

В середине 40-х годов получила известность рискованная шутка профессора университета В. С. Порошина: «Столб столба столбу».

Непосредственную реакцию выказала разве что Надежда Андреевна Дурова, доверчивая кавалерист-девица: «Вид памятника Александру заставил меня горестно всплеснуть руками, с невыразимой печалью смотрела я на колонну и ангела с крестом» (107, 398).

Вскоре подросла и эпитаграмма:

В России дышит все военным ремеслом  
И ангел делает на караул крестом.

По обыкновению, ее приписали Пушкину.

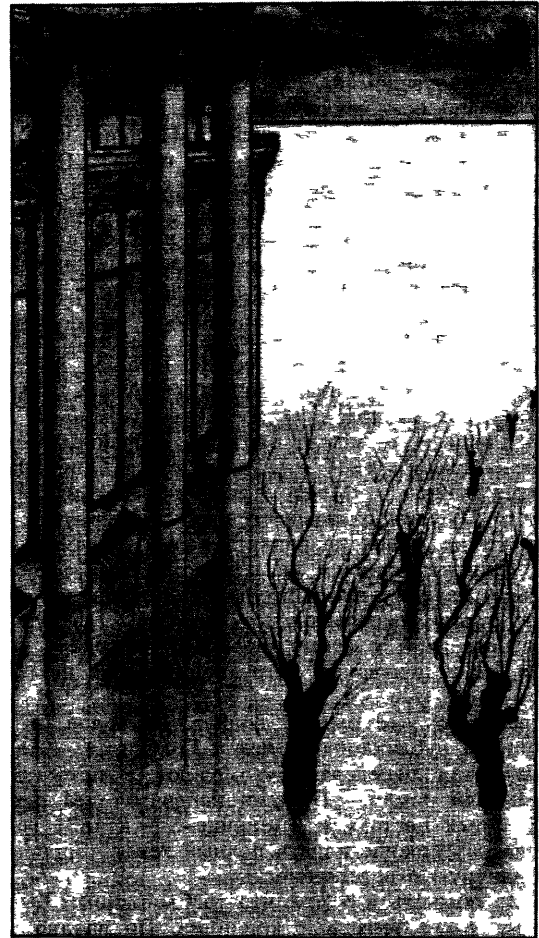
29 августа 1834 года он отсутствовал на Дворцовой площади «...выехал из П(етер)б(урга) за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами — моими товарищами...» (XI, 332). Вяземских представлял сын — четырнадцатилетний Павел Петрович, который засмотрелся на красавиц и потому «не порядочно» описал торжество в своем дневнике.

Петр же Андреевич и Вера Федоровна 11 августа направились в Европу — лечить от туберкулеза дочь Пашеньку. В Германии Вяземского однажды поразило «удивительное эхо труба раздается по скалам, как труба последнего суда или голос графа Литты \*, когда он говорит о колонне Александровской...» (267, 274). Это письмо было послано на родину из Ганау 14 октября 1834 года.

На следующий день Александр Иванович Тургенев записал в дневник «Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о Петербургском потопе. Превосходно» (196, 169). Это — самое раннее из сохранившихся высказываний о «Медном всаднике».

Тургенев вернулся в Россию в конце мая; почти два года он провел в странствиях, спеша охватить своим умственным взором все новейшие достижения европейской мысли — не только гуманитарной, но и инженерной. 8 апреля 1834 года после разговора с К.-Ф. Вибекингом, мюнхенским ученым и архитектором, который рассказывал ему свой проект «об отвращении потоплений от Петербурга», Тургенев записал в дневнике: «Но думают ли о такой трате?.. для избежания возможно даже вероятно, но не близко угрожающего бедствия... Не лучше ли, не дешевле ли перенести столицу и оставить ризико \*\* торговцам?» (294, л 88).

Лето 1834 года Тургенев прожил в Симбирской губернии, в семейной вотчине. С Пушкиным он впервые увиделся в начале сентября — в Москве. Здесь Тургенев услышал отрывки из «Истории Пугачева», получил



\* Ю П Литта — старший обер камергер российского двора

\*\* Риск (от нем *risiko*)



твердое обещание, что эта книга, «как скоро выйдет из печати». «явится» к нему «первому» (XV, 189).

В октябре — частые встречи в Петербурге. 19 октября Тургенев уведомлял своего брата Николая Ивановича (заочно осужденного по делу декабристов и вынужденного жить за границей): «Пушкин читал мне новую поэмку на наводнение 824 г(ода). Прелестно; но цензор его, Государь, много стихов зачернил, и он печатать ее не хочет» (295, л. 136)<sup>6</sup>. 23 октября Пушкин заходил к Тургеневу, который на следующий день писал Вяземскому: «Поэма его о наводнении превосходна, но исчернена и потому не печатается» (179, т. 3, 262).

Однако как раз поздней осенью 1834 года дело начало сдвигаться с мертвой точки. Прошел почти год с того дня, как рукопись поэмы вернулась к автору, Александровская колонна уже возвышалась на Дворцовой площади, и, может быть, не случайно именно в ноябре — декабре 1834 года в дневнике Смирнова появляется запись о «Медном всаднике», от публикации которого Пушкин отказывается «в сию минуту»<sup>7</sup>. Попробуем не желая исправлять поэму по требованиям царя, Пушкин решился на компромиссный вариант — отдельно опубликовать Вступление, изъяв из текста четыре строки, перечеркнутые Николаем I в рукописи. Иных претензий к этому фрагменту государь не высказал, да и цензурные затруднения здесь не предвиделись.

Прецедент уже был. В конце 20-х годов, не имея санкции на публикацию «Бориса Годунова» — Николай рекомендовал переделать «комедию» в историческую повесть или роман, — Пушкин напечатал два отрывка: в «Северных цветах» и «Деннице». А в 1831 году он получил разрешение издать полный текст «Бориса» под своею «личную ответственность».

Надо помнить и о том, что со Смирдиным были заключены очень выгодные кондиции. По вполне достоверным сведениям, за «Гусара», напечатанного в первом томе «Библиотеки для чтения», издатель заплатил 1000 рублей (111, 537). Материальной стороной дела Пушкин не мог, разумеется, пренебречь.

По этическим и этикетным соображениям о задуманной публикации надо было уведомить «высочайшего цензора». В 20-х числах октября Николай I принял поэта в связи с изданием «Истории Пугачева» (140, т. 58, 113), и Пушкин мог воспользоваться этим поводом.

Вступление к «Медному всаднику» — под заглавием «Петербург. Отрывок из поэмы» — увидело свет в декабрьской книжке журнала за 1834 год. Четыре стиха (сопоставление Москвы и Петербурга) были заменены здесь четырьмя строками точек (таким образом Пушкин обозначал цензурные купюры); снял автор и заключительное пятистишие (*Была ужасная пора...*), непосредственно связывающее Вступление и сам «страшный рассказ».

Вслед за «Петербургом», открывавшим журнальную книжку, были напечатаны «Байрон в Колизее» И. И. Козлова, «Певец» Гете в переводе А. Н. Струговщикова, «Стансы» В. Гюго, переведенные И. И. Панаевым. Стихотворец М. А. Марков, автор одного из панегириков Александровской колонне («Я зрю, как поздний мой потомок Стоит, невольно поражен, Гиганта взором измеряя,— И тихо имя Николая С благоговеньем шепчет он...»), на этот раз обратился к бытовой теме. Он повел читателей на «Модное гульбище»: «Февраль. Извожиков к досаде, Уж мало снегу в Петрограде...»

В прозаическом разделе публиковались повесть Пушкина «Кирджали» и «Дон-Кихот XIX века» К. П. Массальского. М. А. Яковлев дал обзор текущей драматической продукции, где пересказал содержание «Осады Пскова», к тому времени уже поставленной на сцене, а также вышедшей отдельным изданием.

«Гвоздем» же номера неожиданно стал перевод «Красавицы» Виктора Гюго, сделанный поэтом М. Д. Деларю. 22 декабря 1834 года Пушкин записал: «Цензор Никитенко на обахте под арестом, и вот по какому случаю: Деларю напечатал в Библ(иотеке) Смирдина перевод оды В. Юго, в которой находится следующая глубокая мысль: Если де я был бы богом, то я отдал бы рай и своих ангелов за поцелуй Милены и Хлои. Митрополит (которому досуг читать наши бредни)

жаловался государю, прося защитить православие от нападений Деларю и Смирдина.— Отселе буря» (XII, 335). Александр Васильевич Никитенко, подробно опиравший свои злоключения (168, 160—165), дознался, что первым забил тревогу близкий к церковным кругам писатель А. Н. Муравьев, а митрополит Филарет, который однажды углядел оскорбление святых в седьмой главе «Онегина» («... и стаи галок на крестах»), но не нашел поддержки у Бенкендорфа, на сей раз добился полного удовлетворения. Скандал был настолько шумный, что о нем сообщалось в депеше вюртембергского посланника своему королю.

Единственный отрывок из «петербургской повести», увидевший свет при жизни Пушкина, не вызвал откликов в критике, если не считать беглого упоминания в обзоре новинок изящной словесности, который регулярно печатался в «Журнале министерства народного просвещения», исполняя прежде всего библиографическую службу. «Знаменитейшие наши поэты помещали стихотворения свои преимущественно в „Библиотеке для чтения“», — констатировал молодой критик Я. М. Неверов, перечисливший далее три произведения, которыми «Пушкин украсил» этот журнал. Среди них — «отрывок из поэмы „Петербург“» (96, 183).

Однако самому Неверову вряд ли понравился «Петербург». В кружке Н. В. Станкевича, к которому он принадлежал, сложилось мнение, что в 1830-е годы «начал угасать поэтический огонь в душе» Пушкина; здесь в цене были только его лирические вещи. Белинский, другой член этого кружка, писал в «Литературных мечтаниях» спустя две недели после публикации «Петербурга»: «Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, обмер на время. <...> По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю».

Иван Иванович Панаев, вступавший в это время на литературную стезю, позднее поведал о сильнейшем впечатлении, которое произвела первая программная статья Белинского. В тех же воспоминаниях он упомина-

нул, что однажды его перевод из Гюго был напечатан рядом с некими «стихами» Пушкина (181, 39). Деталь выразительная: впоследствии Панаев едва ли не наизусть знал «петербургскую повесть», и не случайно, что, принимая Александра Дюма, приехавшего в Петербург в 1858 году, он перевел ему начальные строфы Вступления. Нет сомнения, что если бы эти строфы запомнились Панаеву по первой публикации, то в своих мемуарах (писавшихся в 1860—1861 годах) он не преминул бы отметить, какие именно стихи Пушкина соседствовали с его переводом.

Общее равнодушие к «Петербургу» лучше всего демонстрирует дневник В. К. Кюхельбекера. Старинный пушкинский друг, к тому времени около десяти лет проведший в одиночном заключении, был, наверное, самым прилежным читателем в России; не роптал он и в те месяцы, когда держал в руках только издания двадцатилетней давности. К «Библиотеке для чтения» Кюхельбекер отнесся с повышенным вниманием: здесь удалось опубликовать два его стихотворения, здесь он встречал имена друзей — Владимира Одоевского, Пушкина. «По моему мнению, — писал Кюхельбекер племянникам 18 октября 1834 года, — журналисты с ума сходили, когда было начали нас уверять, будто Пушкин остановился, даже подался назад. В этом «Гусаре» гетевская зрелость таланта» (140, т. 58, 114).

Декабрьскую книжку за 1834 год Кюхельбекер получил через год после ее выхода. Творение Масальского показалось ему «совершенным вздором», «а «Кирджали» Пушкина — просто анекдот, но очень хорошо рассказанный» (131, 342). В дневнике Кюхельбекера отмечена даже статья М. А. Яковлева — и нет ни слова о «Петербурге».

Невнимание современников к «Петербургу» имело причину. Вступление к «Медному всаднику», вынужденно изъятое из контекста поэмы, невольно растворялось в потоке славословия, вызванном открытием Александровской колонны, и даже заинтересованному читателю трудно было отличить «Петербург» от множества иных сочинений, в которых на все лады перепевалась тема «военной столицы»<sup>8</sup>.

Впрочем, ретроспективные свидетельства позволяют сделать осторожные предположения насчет некоторых совсем молодых читателей, которые в середине 1830-х годов еще только грезили о Петербурге. Д. В. Григорович вспоминал позднее, что из всех воспитанников Инженерного училища «кончина Пушкина в 1837 году была чувствительна (...) одному Достоевскому, *услевшему еще в пансионе [Л. И.] Чермака (в Москве) прочесть его творения.* (...) Мне потом не раз случалось встречаться с лицами, вышедшими из пансиона Чермака, где получил образование Достоевский; все отличалось замечательную литературно подготовкой и начитанностью» (81, 55—56). Братья Достоевские поступили в пансион Чермака осенью 1834 года, когда новый журнал Смирдина, конечно же, входил в первый круг чтения российских гимназистов. В это же самое время в 1-й московской гимназии учился Александр Петрович Милюков — впоследствии будущий приятель Достоевских, критик, журналист и преподаватель.

В одной из своих мемуарных книг (не отличавшейся точностью) он, среди прочего, рассказал, как счастливые стечение обстоятельств позволило ему, подростку из небогатой мещанской семьи, попасть на литературные вечера Ф. Ф. Кокошкина, драматурга и переводчика, еще недавно управлявшего московскими театрами.

«Литературные новости делались нам известными задолго, иногда за несколько лет до появления в печати. Авторы либо сами читали их на литературных вечерах Кокошкина, либо присылали ему списки. Так, например, отрывки из «Медного всадника» я узнал еще до кончины Пушкина, между тем как поэма напечатана была после его смерти. Мне удалось даже списать одно место, и в урок, назначенный в гимназии для чтения стихов, я продекламировал его в классе. Василий Иванович был очень доволен и просил дать ему копию» (158, 224).

Пушкин встречался с Кокошкиным только в конце 1810-х годов, в дальнейшем они не поддерживали отношений, и, разумеется, рассказ о списке «Медного всадника», присланном Кокошкину, — сам по себе недостоверен. Еще позже Милюков опубликовал воспоминания о Кокошкине, где акценты расставлены совершен-

но иначе: «... бывали иногда у Кокошкина литературные вечера, но они не особенно интересовали меня, потому что читали большею частью *давно уже известное и напечатанное.* Кажется, главною задачей при этом было (...) искусство чтеца. (...) Кокошкин (...) не питал особого расположения к Пушкину...» (159, 22, 24)<sup>9</sup>. Но упоминание именно об «отрывках» из поэмы наводит на мысль о том, что в основе этой легенды лежит реальное событие. Не исключено, что, прочитав в журнале «Петербург», гимназист переписал текст, с которым и явился на урок к В. И. Оболенскому, преподававшему словесность в 1-й московской гимназии (в декабре 1834 года он был утвержден адъюнктом Московского университета).

Но повторим, что все это — только догадки.

Появление «Петербурга» имело единственное важное следствие: в свете начались толки о лежавшей под спудом пушкинской поэме.

2 декабря 1834 года, в доме Елизаветы Михайловны Хитрово, Тургенев встретился с маркизом Дуро, сыном герцога Веллингтона. «Маркиз Дуро допрашивал, почему государь не пропустил стихов Пушкина... „Tes “pourquoi”, marquis, ne finiraient jamais...” \* (196, 171).

Накануне вышла декабрьская книжка «Библиотеки» с пушкинским «отрывком», и, конечно, речь могла идти о сакраментальных стихах (*И перед младшею столицей...*), отсутствие которых было подчеркнуто четырьмя рядами точек. Эти строки через неделю, 9 декабря, Пушкин специально выписал для Александра Ивановича (196, 171).

Но не менее вероятно предположение М. И. Гиллельсона о том, что 2 декабря обсуждалась судьба всей «петербургской повести» (196, 433). И отговорка Тургенева вполне соответствовала неопределенному статусу пушкинской поэмы — не запрещенной, но и не разрешенной. Автор не оставлял надежд когда-либо увидеть

\* Твоим «почему», маркиз, не будет конца (*фр.*). — Перефразированная цитата из Вольтера («Твоим «почему», сказал бог, не будет конца»).

в печати ее полный текст<sup>10</sup>, однако публикация «Петербург» отнюдь не прибавила ему желания приниматься за малоприятную работу. Еще полтора года, говоря стихами «петербургской повести» XX века,

... лежит поэма

И, как свойственно ей, молчит.

В самом конце декабря 1834 года увидела свет «История Пугачева» (переименованная Николаем I в «Историю Пугачевского бунта»). В эти же дни Пушкина видели у Плетнева, где он беседовал с многознающим Арсеньевым «о лицах и событиях времен Петра Великого» (80, Прим., 8). «Про поэзию, стихи он редко говорит, его любимый разговор — времена Петра, Елизаветы, Екатерины, и он в свой век собрал много документов и рассказов, касающихся до сих времен» (46, 8).

«...Скопляю матерьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник, которого не лъзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулоч» (XV, 154).

В середине 1835 года в Москве начал выходить журнал «Живописное обозрение». На обложке стояло имя книгопродавца А. И. Семена, но ни для кого не составляло секрет, что душою этого издания являлся опальный литератор Николай Полевой. (Годом ранее Уваров, который видел в Полевом «проводника революции», добился запрещения его журнала «Московский телеграф».) В конце 1835 года Полевой выступил в «Живописном обозрении» со статьей «Памятник Петра Великого».

«Беден был памятник, воздвигнутый Петру Вольтером, гением своего века, но историком жалким\*. (...) Этот неудачный опыт вознаградил другой, которым, к сожалению, мы также обязаны искусству чужеземца. Впрочем, идея его и выбор места принадлежали Екатерине: она положила привезть из диких окрестностей Петербурга огромный камень, и на этом исполнине ископаемого царства поставить статую Петра Великого. (...) Фальконет, воспитанник жалкой школы Искусства

\* Имеется в виду «История Петра Великого», написанная Вольтером.

XVIII века, времени совершенного упадка всего изящного, не понял величия мысли Екатерины. Можно ли поверить? Екатерина хотела воздвигнуть статую конную, и чем бы вы думали более всего занялся Фальконет? Отделкою коня! (...)

Он представил Петра быстро въезжающим на коне на гору. Петр, по тогдашнему обычаю всех художников, изображен в какой-то греческо-римской хламиде, босой, с лавровым венком на голове; под ногой коня видна длинная, умирающая змея. Что она значит? Не знаем. Вся фигура носит отпечаток искусной отделки, но и — только. Памятник не выражает ни Петра, ни России, а с удивительным подножием статуи Фальконет поступил как истинный варвар. (...) Не постигая поэзии бросить этого великана, как он есть, под стопы Великого, Фальконет обтесал, обрубил камень до того, что принуждены были приделывать снова верхнюю часть его.

(...) Мы не можем быть довольны памятником Фальконета как произведением изящных искусств, ни историю Голикова как трудом настоящего историка. (...) Нашему или грядущему веку достоин честь воздвигнуть Петру памятник от русской души, русским умом, в истинных понятиях об искусстве, и подарить Отчеству такую историю Петра, которая вполне показала бы весь необъемный гений его, все величие его подвигов» (91, л. 14, 105—106).

Полевой давно строил масштабные замыслы. В 1829—1833 годах выходила его «История русского народа», но это издание прекратилось на шестом томе (посвященном эпохе Ивана Грозного). Теперь же он мечтал написать «Историю Петра», и статья 1835 года имела дальний прицел.

В печатных описаниях памятника Петру допускалось единственное замечание в адрес скульптора — он «отбил необходимую часть подножия», которую «после должно было приставить». Полевой пошел гораздо дальше. Его отзыв о творении Фальконе был вызывающе резок, но он лишь подчеркивал готовность автора следовать новейшим веяниям. Как вскоре выяснилось, Полевой избрал верный способ добиться рас-

положения Николая I. И сама эта тирада не представляла бы особенного интереса, если бы не то обстоятельство, что неприязнь Полевого к памятнику на Петровской площади некогда имела отнюдь не верно-подданнический характер.

«Московский телеграф», почти десять лет издававшийся Николаем и Ксенофонтom Полевыми, впервые объявлял о притязаниях нарождавшегося третьего сословия. «Просвещенные разночинцы» не только оспаривали культурную монополию современных «литературных аристократов», но и ревизовали художественное наследие прошлого. Этот демократический скепсис импонирует молодому Герцену. На рубеже 1832—1833 годов студент Московского университета близко сошелся с братьями Полевыми, и в его юношеской статье «Двадцать восьмое января» (28 января 1833 года) есть пассаж, вполне соответствующий «телеграфским» мнениям. «Не поражало ли каждого из нас равнодушие России к Петру? Правда, ему есть памятник, величественный, среди его города, но надпись на нем *Petro primo Catharina secunda*. ...Есть и другой памятник: под ним написано: «Прадеду правнук» \*: это дело семейное. Но где же тут Россия? Где? Есть ли день, в который бы она собиралась в память Великого, есть ли тот поэт, которого бы он вдохновил, есть ли, наконец, творение, в котором бы достойным образом описаны были деяния Великого».

При желании в последней фразе можно усмотреть и отзвук некоей конкретной беседы, которую Полевой в ту пору мог вести с Герценом. Но в конце 1835 года они вряд ли бы сговорились друг с другом: Герцен, уже полтора года отбывавший ссылку в Вятке, убежденный не сменил, чего нельзя было сказать о Полевом, начавшем отчаянную игру по новым для себя правилам. Второй острый момент в его статье «Памятник Петра Великого» — это полемика с «новейшими порицателями» Петра (чьи имена не названы). «Не понимая, что в общности всей жизни и всех свойств Петра Ве-

ликого познается его гений, хотя рассматривать его отдельно, как законодателя, как воина, как человека, переносят к суждению в нем современные идеи...» (91, л. 14, 107). По убедительному предположению В. Э. Вацуры (7, 450), здесь содержится намек на исторические занятия Пушкина, у которого Полевой соревновал звание историографа Петра Великого.

В январе 1836 года Полевой предпринял решительный шаг. Бенкендорфу была подана записка о задуманной им «Истории Петра Великого». «Петр Сын Судеб» — так сформулировал Полевой «тему» своего будущего сочинения, к которому он приступил с «тайной мыслью». «История последних десяти лет открыла нам тайну праправнука Петрова, того, кто вступил на престол России ровно через сто лет (1725—1825-е годы). Мы знаем, кто ожил в нем». 19 января Бенкендорф представил этот документ Николаю I, сопроводив его благожелательным отзывом.

Высочайшая резолюция гласила: «Историю Петра Великого пишет уже Пушкин, которому открыт архив Иностранной Коллегии; двоим и в одно время поручать подобное дело было бы неуместно» (136, 102).

Не будучи поклонником Пушкина-поэта, Николай I ценит Пушкина-историка. «История Пугачева» представляла важный материал для правительственных прений по крестьянскому вопросу, Николай I, который время от времени склонялся к отмене крепостного права, именно в 1834 году приблизил к себе графа Павла Дмитриевича Киселева: бывший начальник штаба 2-й Южной армии, «самый замечательный из наших государственных деятелей» (так аттестован он в дневниковой записи Пушкина от 3 июня 1834 года), решительно высказывался за освобождение крестьян и наделение их землей. Киселева называли в Петербурге «Пугачевым».

В глазах Николая I историк Пугачева подтвердил свое право быть историком Петра.

Полевой достойно вытерпел обиду и даже публично признал приоритет Пушкина. В «Живописном обозрении» он завел раздел «Русская литературная летопись», в котором летом 1836 года появилась справка: «Пуш-

\* Имеется в виду памятник, установленный перед Михайловским дворцом.

кин Александр Сергеевич, родился в Петербурге 26 мая 1799. Первый из современных поэтов русских, превосходный прозаик и единственный после Державина поэт лирический. Ныне находится в Петербурге (...). Теперь занимается Историей Петра Великого, для которой приготовил уже много материалов, и издает журнал «Современник» (91, л. 47, 374—375).

В это же время Бенкендорф, вообще благоволивший к Полевому \*, оказал ему важную услугу. Находясь в Москве, он прочел статью «Памятник Петра Великого» и обратил на нее внимание государя, вместе с которым прибыл в старую столицу. Николаю I «чрезвычайно» понравилась статья, и он поручил шефу жандармов изъяснить монаршее «благоволение за нее автору».

Дело происходило в августе 1836 года. Памятник Петру по-прежнему раздражал Николая I.

В июле—августе 1836 года Пушкин принялся исправлять «Медный всадник».

14-м августа датирован счет, поданный переписчиком: он изготовил белые копии трех статей Пушкина («Письмо к издателю», «Об Истории Пугачевского бунта», «Вольтер»), «бумаг» не установленного содержания и «Медного всадника». На писарскую копию Пушкин перенес все пометы Николая I; здесь же он производил правку.

Самый загадочный эпизод прижизненной истории «Медного всадника». Почему Пушкин, поначалу отказавшийся исправлять свой текст, именно в этот момент решился на переделку? Почему он не довел дело до конца? Где и как мыслилась публикация «петербургской повести»?

29 августа 1836 года Николай Алексеевич Муханов, навещавший Пушкина, одним из первых прочел его новое стихотворение. Ему показалось, что поэт в нем «жалуется на неблагодарную публику и напоминает

\* Позже, по ходатайству Бенкендорфа, Полевой получил разрешение писать «Историю Петра Великого», которая была издана в 1843 году.

свои заслуги перед ней». Эта характеристика, относящаяся к стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», в значительной мере навеяна впечатлением от самого автора, которого Муханов нашел «ужасно упавшим духом», «вздыхающим по потерянной фаворно публики» (198, 96).

В ту пору Пушкин действительно был встревожен своей пошатнувшейся писательской репутацией. Читавшим обществом владело мнение о том, что в русской литературе уже миновал пушкинский период. Тезис Белинского, заявленный в «Литературных мечтаниях», оспаривался разве что в «Северной пчеле» (1835, № 29): «Пусть уверяют, что пушкинский период кончился, что теперь настает новая эпоха. Это, может быть, справедливо в отношении к столицам; но в Саратовской губернии царствует и продолжается еще пушкинский период»<sup>11</sup>.

Замечательно, что под «пушкинским периодом» все подразумевали именно эпоху в развитии стиха. Пушкин-прозаик в эти годы был на виду: «фаворию публики», утраченную в начале 1835 года («В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже не покупают...» — XII, 337), он снова завоевал в конце 1836 года, когда появилась «Капитанская дочка». Но даже близкие друзья не ощущали да и не могли ощущать творческую энергию Пушкина-поэта, хотя, конечно, предпочитали об этом помалкивать или высказываться односложно — как, например, Александр Иванович Тургенев (в письме брату от 10 декабря 1834 года): «Пушкин — поэт, но более пишет в прозе» (295, л. 150).

Существование Пушкина-поэта с каждым годом требовало всеких доказательств.

Возможно, поэтому Пушкин наконец решился привести «Медный всадник» в удобопечатаемый вид. Пусть и ценой существенных потерь, неизбежных при исправлении поэмы.

Н. В. Измайлов, наиболее авторитетный исследователь творческой истории «Медного всадника», объясняет возвращение к рукописи тем обстоятельством, что материалы, публиковавшиеся в пушкинском «Современнике», «проходили не царскую, а общую цензуру. И как

бы стеснительна ни была эта цензура, руководимая личным врагом поэта, министром народного просвещения С. С. Уваровым, он надеялся, что при условии некоторой переработки наиболее «опасных» мест, отмеченных в 1833 году Николаем I, поэма будет разрешена» (4, 222). Можно еще прибавить, что в августе 1836 года Пушкин составлял третий том «Современника», в котором появились все те статьи, которые были набело переписаны вместе с «Медным всадником».

Такая точка зрения предполагает, однако, что автор «Медного всадника» заведомо предпочитал иметь дело с общей цензурой. Мы же старались показать, что в 1833 году Пушкин выбрал другой путь. И эта тактика впоследствии не переменилась: в противном случае Пушкин еще в 1834—1835 годах предложил бы исправленную поэму в смирдинский журнал, где его произведения рассматривались на общих основаниях. Как раз в 1836 году момент был самый неблагоприятный — взаимоотношения с Уваровым и подопечными ему цензорами обострились до предела.

В конце февраля 1835 года Пушкин записал: «Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клевет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит» (XII, 337).

Об «Истории Пугачева», вышедшей по личному разрешению государя, Уваров мог только «кричать», но из «Анжелю», подлежащего общей цензуре, Уваров самолично исключил восемь стихов. Когда в конце 1835 года появился памфлет «На выздоровление Лукулла», направленный против Уварова, молва сочла, что Пушкин отомстил министру именно за цензурный произвол.

Цензором же «Современника» Дондуков-Корсаков (председатель Петербургского цензурного комитета) назначил А. Л. Крылова, «самого трусливого», а следовательно, и «самого строгого» из этой «братии» (168, 180); летом 1836 года между ним и Пушкиным происходят постоянные столкновения из-за материалов третьего тома (55, 216—271).

В такой ситуации поэт не мог надеяться на благополучное прохождение «Медного всадника» — даже исправленного по замечаниям государя — в цензурных инстанциях. К тому же Пушкин, вероятно, знал о дурной славе, которую приобрело его неопубликованное произведение. 17 января 1836 года Никитенко — не со слов ли министра? — записал в дневник, что поэма «Всадник» уже «не пропущена» самим государем (168, 179).

Мы вправе предположить, что автор «петербургской повести» снова рассчитывал на «высочайшую цензуру». И если бы Николай I завизировал переделанный текст, Пушкин, скорее всего, выпустил бы поэму отдельным изданием — «под личную ответственность» (как «Бориса Годунова»).

Летом 1836 года, пытаюсь приготовить поэму к печати, Пушкин начал также вносить в текст правку творческого характера, что было совершенно естественно, ибо с момента написания поэмы прошло уже два с половиной года. (И как знать, не явилась ли потребность в этой работе дополнительным стимулом для того, чтобы отдать рукопись в переписку?)

Еще до того, как автограф был отдан переписчику, автор переменял последние строки Вступления.

Была ужасная пора...	Была ужасная пора,
Об ней начну повествованье	Об ней свежо
И будь оно, друзья, для вас	воспоминанье...
Вечерний страшный лишь	Об ней, друзья мои, для вас
рассказ	Начну свое повествованье.
А не зловещее преданье	Печален будет мой рассказ.

Эта правка как будто предвещала новую редакцию всей поэмы, но сохранившиеся смысловые или стилистические изменения, внесенные в текст на этом этапе<sup>12</sup>, не позволяют выдвинуть сколько-нибудь убедительную гипотезу. Переработка «Медного всадника» оборвалась на ранней стадии. В свою рабочую копию Пушкин даже не перенес новую редакцию стихов 145—158 (*Жениться? Ну... зачем же нет? И воспитание ребят...*), которая была записана на отдельном листке.

Этот автограф был обнаружен С. М. Бонди лишь в 1947 году (48)<sup>13</sup>.

Автоцензурная правка также осталась незаконченной. Переделывая четыре строки из Вступления, Пушкин ограничился исправлением лишь одного — и самого «невинного» — стиха (*Померкла старая Москва — Главой склонилася Москва*).

Не достигла цели и другая замена:

О мощный властелин	О, мощный баловень
судьбы!	судьбы!
Не так ли ты над самой	Не так ли ты скакал над
бездной,	бездной
На высоте, уздой железной	И, осадив уздой железной,
Россию поднял на дыбы?	Россию поднял на дыбы?

Последний стих, вызвавший неодобрение Николая I, по-прежнему бросался в глаза.

Неприемлемым был и новый вариант ключевой сцены:

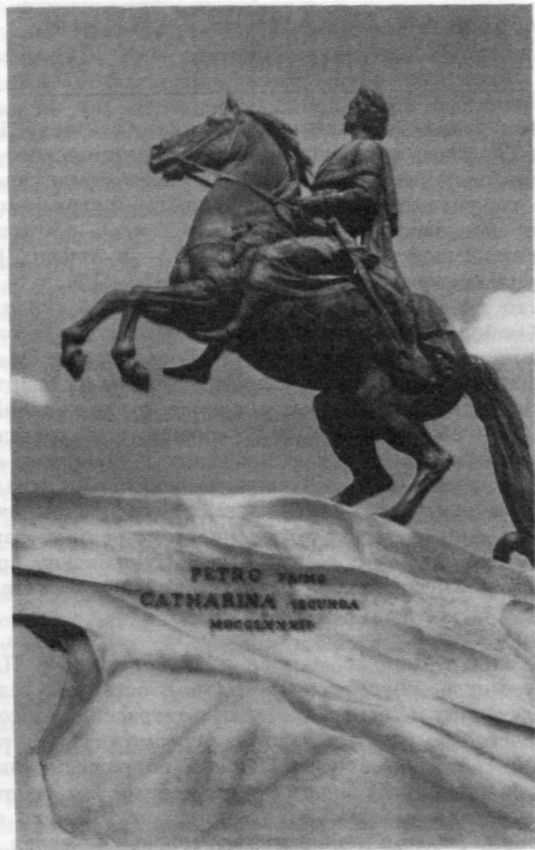
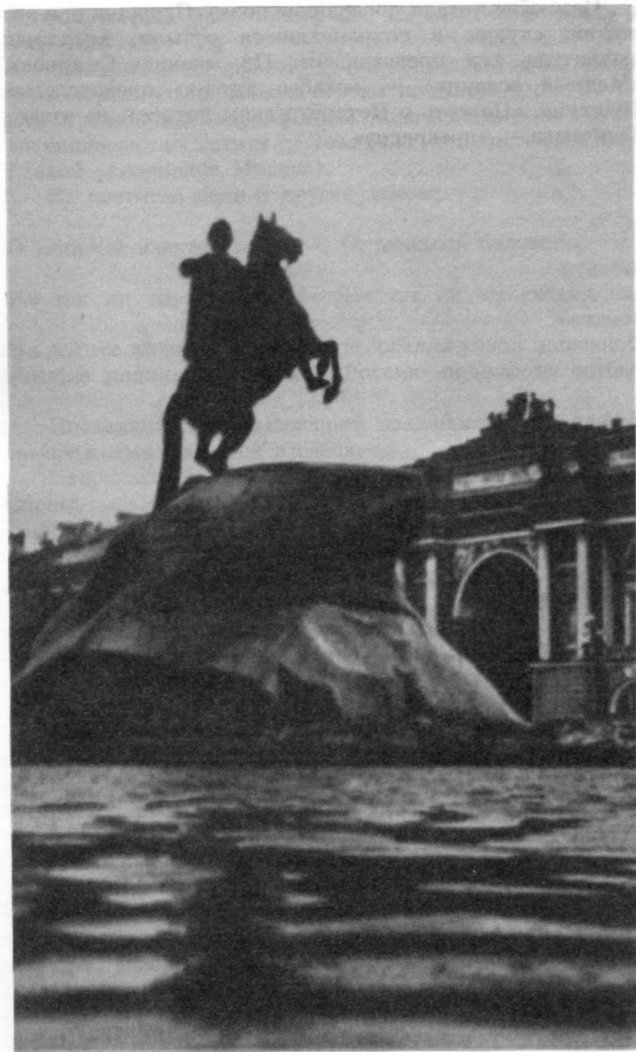
И дрогнул он — и мрачен стал  
П(е)ред недвижимым Великаном  
И перст с угрозою подняв  
Шепнул, волнуем мыслью черной  
«Добро, строитель чудотворный!  
Ужо тебе!»...

Существует предположение, что летом 1836 года, еще раз убедившись в том, что цензурная переделка «обесценивает» его «любимое творение», Пушкин вновь отказался от идеи напечатать «петербургскую повесть» (4, 227).

Не исключено, что дело обстояло иначе. Не сумев в один присест разрешить обе задачи — отредактировать (или даже переписать) поэму в соответствии с новым творческим замыслом и одновременно выправить ее, учитывая требования государя, — Пушкин еще раз отложил рукопись в стол. Отложил, может быть, ненадолго.

Немногие читали последнюю поэму Пушкина при его жизни; скудны и сохранившиеся отзывы, хотя вся амплитуда уже представлена. По мнению Смирнова, «Медный всадник» — «слабее других» произведений Пушкина. «Повесть о Петербургском потопе», на взгляд Тургенева, — «прекрасна».





---

Э. М. Фальконе.  
Памятник Петру Первому  
на Сенатской площади. 1782 г.

---

---

## «...КАК С ЗАПЕЧАТАННЫМ ПИСЬМОМ»

---

Рано утром 7 февраля 1837 года Александр Иванович Тургенев, возвращавшийся из Святогорского монастыря, приехал в Псков. «Мы предали земле земное вчера на рассвете». Короткое письмо Жуковскому и Вяземскому, вечером Тургенев отправился в столицу. «Везу вам сырой земли, сухих ветвей — и только... Нет, и несколько неизвестных вам стихов П.» (179, т. 4, 1).

В то же воскресенье, 7 февраля, Жуковский и генерал-майор Л. В. Дубельт, начальник штаба корпуса жандармов, распечатали кабинет Пушкина: все бумаги, уложенные в два сундука, были перевезены на квартиру Жуковского. Здесь Дубельт — в присутствии хозяина — с 8 по 25 февраля вел «посмертный обыск»<sup>1</sup>. Предполагалось существование неких документов, «могущих повредить памяти Пушкина», впрочем, генерал — по собственному разумению или выполняя инструкцию — серьезно вникал только в переписку; если он и заглядывал в рукописи, то весьма бегло. Пушкинский архив остался у Жуковского, который срочно приступил к разбору.

Сергей Александрович Соболевский, который в это время жил в Париже, взывал к Жуковскому и Плетневу: «После покойного, вероятно, осталась бездна переплетенных и непереплетенных тетрадей, записок и записочек. Все это следовало бы пересмотреть тщательно; найдется многое, чего Пушкин по разным каким-нибудь собственным видам, уничтоженным его смертью, не напечатал. (...) Найдется многое, не имевшее продолжения, но уже полное само собою. Я желал бы, чтобы вы, господа, оставили это до моего приезда, до мая. Я знаю многое, чего не знают другие, и мог бы быть полезным в этой переборке!»

Соболевский, по всей вероятности, обладал немало важной информацией об истории текста «Медного всадника» и планах издания поэмы. Как мы знаем, летом 1833 года, подарив Пушкину запрещенный том Миц-

кевича, он вместе с поэтом — «в самую бурю» — выехал из Петербурга (друзья расстались в Торжке); весной 1834 года, по словам сестры Пушкина, «он, кажется, у Александра совершенно поселился и воцарился» (и несомненно, Соболевский был одним из первых читателей «петербургской повести»); 8 августа 1836 г. он отбыл из России — как раз в то время, когда Пушкин мог рассказать ему о задуманном издании «Медного всадника»... Но, к сожалению, этот «след» для нас потерян, ибо Соболевский за всю свою долгую жизнь ни разу не обмолвился о пушкинской поэме.

А в начале 1837 года друзья Пушкина не имели возможности дожидаться его разъяснений: их торопили обстоятельства. 4 февраля Николай I разрешил издавать «Современник» в пользу семьи поэта (подписку на 1837 год Пушкин объявил самочинно), и уже 13 февраля — в день, когда Соболевский только отправлял свое парижское послание, — на квартире В. Ф. Одоевского состоялось первое «совещание» новых издателей журнала (217, 569).

Их оказалось пятеро: Жуковский, Вяземский, Одоевский, Плетнев, а также Андрей Александрович Краевский, который при жизни Пушкина ведал технической стороной журнала. В литературной среде это производство «капрала» в «генералы» отнесли за счет услужливости и расторопности Краевского, но возможно, что таким манером были вознаграждены его труды в истекшем году, за которые он ничего не получил от Пушкина.

Главной фигурой здесь был Жуковский<sup>2</sup>.

Наследство досталось убыточное: если тираж первого тома составлял 2400 экземпляров, то четвертый был отпечатан всего в 900 экземплярах. «Современник» не смог отвоевать аудиторию у «Библиотеки для чтения», которая в лучшие времена располагала 7000 подписчиков. На взгляд И. И. Дмитриева, «Современнику» не хватало «журнальных свойств и разнообразия», более живого «участия в движении нашей и всеобщей литературы» (83, 326). Поднаторевший в издательских делах Погодин тактично упрекал Краевского в важных

недосмотр: «Журнал ваш хорош, кроме нелепого формата, из-за которого многие не подписываются, ибо, говорят, после переплестать нельзя. Критики и библиографии мало, и не достаёт живости» (286, л. 17).

Летом 1836 года Погодин внушал Краевскому (это письмо, начатое в июне, было послано в сентябре): «Скажите Александру Сергеевичу, что он дурно делает, не уступая ничего книгопродавцам. Хотя они мошенники, но уступить им должно по 20 процентов для своей же пользы, если на деньги, и по 15 в комиссию» (286, л. 13 об.).

В ответном письме (от 8 октября 1836 года) Краевский откровенно жаловался на издателя: «Говорил я Пушкину о присылке в Москву «Современника» на комиссию. Он отвечал ни то ни се. Беззастыдливость его может взбесить и агнца!» (140, т. 16/18, 717).

В марте же 1837 года Краевский и его добровольные помощники атакуют Погодина с просьбой уладить дела с московскими комиссионерами «Современника» («самым неисправным» из них считался книгопродавец Н. С. Селивановский). Поскольку в бумагах Пушкина не нашлось нужных документов, требовались хитрость и настойчивость: «теперь деньги за «Современник» вещь святая — они сиротские, и за каждую копейку надо будет отдать отчет совести...» Одновременно Краевский апеллировал к литературной совести москвичей: «... да пришлите и свою лепту в «Современник», подбейте на то Шевырева, Павлова, Языкова, Боратынского; стыдно вам и им будет, если ничего не пришлете в журнал, посвященный памяти Пушкина. Статей чужих у него осталось много, но, разумеется, пойдет в дело самая меньшая часть...» (140, т. 16/18, 722)<sup>3</sup>.

Жуковский предполагал, что редакция всех томов «Современника», выходящих в 1837 году, будет коллективной. За каждым томом закреплялся выпускающий, в чьи функции входили «сношения с цензурою, с типографией, с корректорами и с комиссионером» (94, 22). Первый том — пятый по общему счету — достался Плетневу, три последующих — Краевскому, Одоевскому и Вяземскому. (Сам Жуковский начинал готовить собрание сочинений Пушкина и к тому же

должен был сопровождать наследника в летнем путешествии по России.)

В конце февраля Вяземский просил «уступить» ему пятый том (106, 76—77), впрочем, в техническую работу по этому тому были втянуты все редакторы.

Сохранился предварительный план пятого тома, набросанный Жуковским (140, т. 58, 151; 277, л. 1). Он подвергся некоторой правке (о которой еще будет речь), но поначалу две первые позиции выглядели следующим образом:

«1. О последних минутах Пушк (ина).

2. Медный всадник. Отрывок».

Осторожность издателей вполне объяснима: Николай I, выказавший щедрость по отношению к семье покойного, велел тщательно цензуровать его посмертные публикации. И Жуковский, уже убедившийся в том, что переделка «Медного всадника» не закончена, прежде всего наметил публикацию некоего связного фрагмента, который в свое время не вызвал замечаний Николая и не должен был смутить петербургских цензоров. Поскольку Вступление к поэме уже публиковалось в «Библиотеке для чтения», отрывок надо было выбирать из Первой или Второй частей.

В дальнейшем состав и композиция тома претерпели значительные изменения. Так, фигурировавшие в предварительном плане «Египетские ночи» перешли в восьмой том, стихотворения Тютчева — в шестой. Добавилась, среди прочего, «Осень» Баратынского (дописанная в тот момент, когда Москвы достигла весть о смерти Пушкина).

«Медный всадник» был опубликован в пятом томе «Современника» полностью.

Мы поневоле вступаем в область гипотез, поскольку такой поворот событий никак не отражен в сохранившихся источниках. Не документирована и цензурная история «Медного всадника».

Займемся хронологическими выкладками.

В первоначальных набросках Жуковского, где «петербургская повесть» представлена еще «отрывком»,

последнюю позицию занимают «стихи Карамзина». В пятом томе «Современника» — под псевдонимом А. Лаголов — дебютировал в печати Александр Николаевич Карамзин (сын историографа), и надо полагать, что, составляя план, Жуковский уже имел пред глазами его стихотворение «Чистый понедельник». Оно было написано не ранее 1 марта 1837 года (198, 192—193) и, вероятно, сразу было доставлено Жуковскому, ближайшему другу семьи Карамзиных.

4 марта издатели «Современника» сошлись у Жуковского. Присутствовавший здесь Тургенев записал: «Рассматривали стихи и прозу, найденные в бумагах Пушкина и назначаемые в «Современник». Отличного мало. Лучше — самого Пушкина». (253, 300). Если принять в расчет дату написания «Чистого понедельника», то начальный набросок Жуковского хронологически соответствует именно деловой встрече 4 марта.

Через восемь дней, 12 марта 1837 года, Жуковский сообщал И. И. Дмитриеву: «О самом Пушкине я не говорю вам ничего: вы, вероятно, читали мое подробное письмо к С(ергею) Львовичу о последних его минутах. В этом письме заключается все, как было. <...> Разбор бумаг Пушкина мною окончен. Найдены две полные прекрасные пьесы в стихах: «Медный всадник» и «Каменный гость» (Д. Жуан). Они будут напечатаны в «Современнике» <...>» (94, 438).

Новостей много, но сказано чересчур общо. К середине марта Жуковский закончил лишь предварительный разбор пушкинского архива (вся работа растянулась на годы), а «Каменный гость» готовился отнюдь не в ближайший том «Современника» (в конце года эту «маленькую трагедию» откупил Смирдин, и в 1839 году она увидела свет в его альманахе «Сто русских литераторов»). Но важно другое: 12 марта Жуковский объявляет о публикации *полного* текста «Медного всадника».

Накануне Погодин отправил Вяземскому запрос о состоянии пушкинского архива «...цела ли «Русалка», «Островский», «Ганнибал», «Пророк», 8 песнь «Онегина»? Что «Петр»? (248, 403). Любопытно, что «Медный всадник», который был прочтен Погодину в начале

ноября 1833 года, здесь вообще не упомянут. 21 марта 1837 года М. А. Коркунов, ведавший перепиской Вяземского (тот страдал болезнью глаз), уведомлял Погодина о главных находках. Под первым номером значилось: «„Медный всадник“, который уже напечатан...» (248, 404). Коркунов хотел сказать, что набрана корректура поэмы, но Погодин, не осведомленный о видах издателей на «петербургскую повесть», его не понял. 29 марта он переспрашивал Коркунова: «А «Медный всадник» вы хотите издать отдельно?» (248, 405). Более точными сведениями обладал, как мы знаем, И. И. Дмитриев, который поспешил поделиться с журналистом и историком П. П. Свиным (письмо от 23 марта): «Добрый Жуковский пишет ко мне, что, при разборе им бумаг Пушкина, найдены им, уже в отделке, две прекрасные пьесы в стихах: «Медный конь» и «Каменный гость» (Дон-Жуан), которые и будут напечатаны в «Современнике» <...>» (83, 328). Дмитриев нетвердо запомнил заголовок новой пушкинской вещи: не возбуждавший, разумеется, ассоциаций с монументом Петру Великому, он походил на название комической оперы Обера и Скриба «Бронзовый конь», последней и шумной премьеры сезона.

Что же получается? 4 марта издатели еще обсуждают вопрос о публикации отрывка из «Медного всадника», а к 21 марта — спустя всего две с половиной недели — набранные листы «петербургской повести» были доставлены Вяземскому. Не исключен, конечно, вариант, при котором уже 4 марта издатели решили публиковать полный текст поэмы и Жуковский немедленно скорректировал свой предварительный план. (В результате этой правки новая запись, относящаяся к «петербургской повести», сначала имела такой вид: «Отр <ывок>. Мед<ный>». Затем эти сокращения были перечеркнуты и заменены полным названием — «Медный всадник». — 277, л. 1). Но, как бы то ни было, крайние даты остаются прежними: 4—21 марта.

В эти сроки рукопись должна была пройти цензуру и поступить в типографию. Если даже вообразить, что судьба «Медного всадника» счастливо отличалась от судьбы прочих ключевых материалов тома, которые

рассматривались крайне медленно (и в разных инстанциях), то все равно нам придется сделать вывод о неслыханной оперативности, не имевшей прецедентов в цензурной практике. (Не забудем и о «промежуточной» дате 12 марта: сомнительно, чтобы Жуковский сообщал Дмитриеву о публикации всей поэмы, не будучи окончательно в этом уверен).

Объяснение, на наш взгляд, может быть только одно: Жуковский, довершивший за автора переделку поэмы, подал ее Николаю I — через голову цензурного комитета.

Известно, что некоторые пушкинские материалы, предназначенные для публикации в пятом томе «Современника», просматривались лично Николаем I. По поводу стихотворения «Отцы пустынноики и жены непорочны...», увидевшего свет под названием «Молитва», Жуковский сообщал Одоевскому (в недатированной записке): «Государь желает, чтобы эта молитва была там факсимилирована как есть и с рисунком. Это хорошо будет в 1-й книге «Современника», но не потерять этого листка; он должен быть отдан императрице» (254, 280).

Для того, чтобы ходатайствовать о вторичном «высочайшем» чтении, требовались серьезные основания. Жуковский, по всей вероятности, напомнил Николаю I о том, что в декабре 1833 года он уже читал пушкинскую рукопись и оставил на ней пометы. По логике вещей в таком случае только император имел право принимать решение. Жуковский к этому мог прибавить, что сам он исполняет посмертную волю автора, который уже готовился представить государю исправленный текст.

Н. В. Измайлов, специально не изучавший цензурную историю 1837 года, весьма проникательно заметил, что «для подготовки поэмы <...> у редактора Жуковского было крайне ограниченное время — быть может, всего несколько дней» (4, 230).

Для работы над текстом поэмы Жуковский воспользовался копией 1836 года.

В строках из Вступления, посвященных сравнению Москвы и Петербурга, Пушкин лишь поправил второй

стих, не меняя их сути. Жуковский, не успевший, возможно, вдуматься в смысл «высочайших» претензий, этим удовольствовался.

И перед младшею столицей  
Главой склонилася Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиросная вдова.

Пушкин поменял «кумира» на «седока»:

Кумир на бронзовом коне — Седок на бронзовом коне

Жуковскому это автоцензурное исправление не понравилось; появился новый вариант:

Гигант на бронзовом коне  
Гигант с простертою рукою

Дальше Жуковский переделал еще четыре стиха:

Кто неподвижно возвы-	Кто неподвижно вызвы-
шался	шался.
Во мраке медною главой,	Во мраке с медной головой
Того, чьей волей роковой	И с распростертою рукою
Над морем город основался	Как будто градом любов-
	вался.

Следом шли стихи, которые требовали значительной правки. Здесь Жуковский ничего не изменял; его карандаш перечеркнул десять строк, которые современники Пушкина так и не увидели в печати.

Ужасен Он в окрестной мгле!  
Какая дума на челе!  
Какая сила в нем сокрыта!  
А в сем коне какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?  
О, мощный баловень судьбы!  
Не так ли ты скакал над бездной

И осадив рукой железной  
Россию поднял на дыбы?

Наконец, была урезана кульминационная сцена:

Глаза подернулись туманом,	Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,	По членам холод пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал	И дрогнул он — и мрачен стал
Пред горделивым истуканом	Пред дивным русским Велликаном.
И, зубы стиснув, пальцы сжав,	И перст свой на него подняв,
Как обуянный силой черной,	Задумался. Но вдруг стремглав
«Добро, строитель чудотворный! —	Бежать пустился...
Шепнул он, злобно задрожав, —	
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав	
Бежать пустился...	

Николая I покорила и сама сцена погони Медного всадника за безумцем, однако Жуковский ее сохранил. Может быть, он рассчитал, что «тяжело-звонкое скаканье» будет не столь оглушительно резонировать в смягченном контексте; может быть, причина была совсем иная.

Жуковского часто упрекали в стилистической небрежности. П. Е. Щеголев, начинавший текстологическое изучение поэмы, возмущался, в частности, строкой «Во мраке с медной головой», которая, по его мнению, вносила «неожиданно пошлый оттенок» (3, 67). Это, конечно, не пустые придирки, и все же они не умаляют заслуги посмертного редактора «петербургской повести». Именно Жуковский всеми «правдами» и «неправдами» добился публикации последней поэмы Пушкина. Не по его вине смысл «Медного всадника» оказался искажен-

ным и затемненным, но только благодаря его стараниям, по крайней мере, два читательских поколения узнали три сотни стихов Пушкина, связанных единым замыслом.

Если верно наше предположение о том, что Жуковский проводил «Медный всадник» через высочайшую цензуру, то Николаю I, очевидно, была предъявлена та самая копия 1836 года, на которой правили текст и автор «петербургской повести», и ее редактор. Замечания государя, как мы знаем, были перенесены на эту копию еще Пушкиным; таким образом, вся «документация» по «Медному всаднику» оказалась налицо.

Судя по всему, Николай I бегло пробежал текст поэмы. Свои пометы 1833 года он помнил уже нетвердо, а правка Жуковского должна была наглядно свидетельствовать о том, что все они были учтены.

Никаких новых исправлений — сверх тех, что принадлежали самому Пушкину и Жуковскому, — первопечатный текст «Медного всадника» не содержит. Николай I снова не обратил внимания на третью примечание к поэме, которое в 1836 году Пушкин усугубил: «Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший Петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений „Oleszkiewicz”».

Проглядел Николай I и то обстоятельство, что перечеркнутые им строки из Вступления Жуковский лишь подправил — но не снял. Тем самым была восстановлена цензурная купюра в журнальной публикации «Петербурга».

Не дожидаясь завершения «допечатного» периода в истории «Медного всадника», Жуковский расширял круг читателей и слушателей поэмы. 3 марта, накануне уже известного нам собрания издателей, А. И. Тургенев отметил в дневнике визит к Карамзиным: «С Жук (овским), Вяз (емским) и пр. Слушал письмо Жуковск (ого) к отцу Пушкина и поэму «Медный рыцарь» Пушкина» (253, 300). О том, что это произведение ему давно известно, Тургенев не счел здесь нужным упомянуть, и тем более любопытно сопоставить его лаконичные записи 1834 и 1837 годов: оба наименования, ко-

торые он прилагает к «Медному всаднику» — «поэма о Петербургском потопе» и «Медный рыцарь», — как бы указывают на смысловые полюса «петербургской повести».

13 марта Александр Карамзин писал брату Андрею в Париж: «Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные донельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена, прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений et une grâce infinie jointe à beaucoup de sentiment et de chaleur \*; в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения. В целой поэме не встретится ни одного лишнего, малоговорящего стиха!!!» (198, 192).

Сопоставляя это свидетельство с письмом Жуковского Дмитриеву, отправленным накануне, можно предположить, что под «целой поэмой» Александр Карамзин подразумевал либо «Каменного гостя», либо «Медного всадника».

Судьба «петербургской повести» решилась быстро, но до выхода журнала в свет было еще далеко.

13 марта Жуковский сетовал в письме Сергею Львовичу Пушкину: «Мы занимаемся теперь изданием «Современника»; но нас семь нянек, и оттого все что-то не подвигается вперед».

Через месяц с небольшим, 17 апреля, Жуковский приглашал Одоевского для совместной работы: «Кончим все для «Современника». Вы будете поправлять одно, я другое, так все и будет в шляпе». (216, 106). Однако 24 апреля Коркунов извещает Погодина, что «Современника» напечатано всего «9 листов»: «две статьи Пуш-

кина: «Медный всадник», стих (отворная) повесть, и «об Иоане д'Арк» прозаическая статья; стихи Жуковского, неизданное сочинение Карамзина, Глава из записок о Ф(он) Визине К(нязя) П. А. Вяземского...» (140, т. 16/18, 722).

Погодин же продолжал спрашивать и наставлять: «В бумагах Пушкина что найдено, — писал он Краевскому 27 апреля, — до сих пор мы не знаем обстоятельно. Например — будут ли целы некоторые строфы, ненапечатанные в «Онегине» и друг(их) стихотворениях? Сохраните малейшую строку его руки — не одно только пойдущее в печать. У него было множество начатых прозаических статей, отметок, известий и проч. Что будет с выписками о Петре? По-моему, их следует напечатать, как они есть, во всеобщее употребление. Что именно Пушкиным отмечено (...) как черта, составная часть будущей картины, намеки его, — это же интересно и плодотворно для тех, кои могут принять в себя семя» (286, л. 19).

Адресат был выбран не самый удачный. Краевского, связавшего себя с «Современником», не волновали высокие материи: дело продвигалось вяло, материалы застревали в цензурных инстанциях. Свое письмо С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года (получившее в печати название «Последние минуты Пушкина») Жуковский показал государю, который распорядился изъять из текста все, что имело отношение к дуэльной истории. В начале апреля Жуковский послал Уварову два экземпляра письма (один с пометами государя, и второй — уже исправленный), приложив «арзамасское завывание», как бы воскрешающее те времена, когда «Светлана» и «Старушка» безмятежно предавались веселой литературной игре.

«Благоволите, батюшка Старушка, устремить на сии гусиным пером исчерканные страницы те части бытия вашего, в коих со времен Адама заключается зрительная способность сынов человеческих. ...Благоволите сунуть сие творение в раскрытую пасть цензуры, сей гладной коровы, пасущейся на тучных пажитях литературы и жующей жвачку с каким-то философским самоотвержением; благоволите предписать сей корове,

\* И бесконечное изящество, соединенное с большим чувством и жаром души (фр.).

чтобы она поскорее изжевала статью мою и поскорее ее выплонула... Да что же статья Карамзина! Господи помилуй! возвратите ее поскорее, Старушка...» (148, 25—26).

«Статья Карамзина» — это отрывок из его «Записки о древней и новой России», сочиненной в 1811 году и для печати не назначавшейся. У нее было два читателя — Александр I и его сестра, великая княгиня Екатерина Павловна. Эта рукопись, вызвавшая высочайшее неудовольствие, была затем утрачена, и обнаружили ее лишь в 1836 году.

Для пушкинского круга это было важным и радостным событием. 25 февраля 1836 года Вяземский спешил известить о нем Дмитриева, которому Жуковский вскоре послал копию «этого творения, которое к несчастью должно остаться в неизвестности» (94, 437).

Иначе думал Пушкин. Во втором томе «Современника» (в статье «Российская академия») он упомянул о существовании «Записки». Отрывки из нее Пушкин также намеревался опубликовать в своем журнале. Цензурные мытарства «Записки» начались в сентябре 1836 года, и лишь в апреле 1837 года Жуковский с большим трудом отстоял публикацию отрывка, который подвергся значительному сокращению.

В частности, неуместными для печати были сочтены рассуждения о важных просчетах Петра Первого, человека и политика. «Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы на северном крае Государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток. (...) мысль утвердить там пребывание наших государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действие сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. (...) Там обитают государи российские, с величайшим усилием домогаясь, чтобы их царедворцы и стража не умирали голодом и чтобы ежегодная убыль в жителях наполнялась новыми пришельцами, новыми жертвами преждевременной смерти! Человек не одолеет природы!» (183, 16—17; 113, 30—31).

Этот пассаж возвращает нас к истокам «Медного всадника». Именно Карамзин сохранил для современников знаменитое высказывание Александра I в день наводнения 1824 года, которое перешло в «петербургскую повесть»: «с божией стихией Царям не совладать». Можно лишь догадываться о том, какие мнения Карамзина, изложенные в «Записке», были известны Пушкину в 1833 году, но, как бы то ни было, на фоне приведенного отрывка эта реплика открывает глубокую смысловую перспективу. Монарх, рожденный в год великого наводнения 1777 года (что отмечено в черновике поэмы), выслушивает от своего подданного горькое пророчество — «Человек не одолеет природы!» — и надолго к нему охладевает; однако в последний год жизни — застигнутый новым «потопом» — он признает правоту вещей слов.

Соседство с этим пассажем из «Записки» Карамзина несомненно увеличило бы резонирующую силу «петербургской повести»; однако здесь — невстреча.

Зато журнальный контекст позволил перемолвиться с Вяземским.

В конце 1836 года Вяземский задумал издать историко-литературный сборник «Старина и новизна» (Пушкин предлагал назвать его «Старина и новина»). О новом предприятии оповещалось в четвертом томе «Современника», но план этот не осуществился, и когда Вяземский просил «уступить» ему пятый том «Современника», то специально подчеркнул: «...у меня же есть материалы, приготовленные для сборника, которые могу перенести в „Современник“» (106, 76).

Из портфеля «Старины и новизны» в пятый том перекочевала «Сильфида» Одоевского, отрывок из «драматической сказки» Н. М. Языкова «Об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке» и одна глава (VIII) из книги Вяземского о Фонвизине.

Эта книга была вчерне закончена еще в 1830 году, и тогда же отрывки из нее Вяземский прочитал Пушкину. «Уже при последних издыханиях холеры навестил меня в Остафьево Пушкин (...). Он слушал меня с живым сочувствием приятеля и критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели



критиковал. <...> Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, то есть лучшую награду за свой труд».

Как полагают современные исследователи (173, 64), 17 декабря 1830 года Пушкину были прочтены три главы «Фонвизина» — VI, VII, VIII. Весной 1832 года Пушкин, Тургенев, Плетнев и К. С. Сербинович ознакомились с текстом всей книги Вяземского; их пометы недавно были воспроизведены (173, 7—57).

Один из этих читателей отчеркнул характерный для Вяземского афоризм, заключенный в VIII главе (которая посвящена комедиям Фонвизина и, в частности, его «Бригадиру»): «Кажется, в Москве бригадирство погребено было смертью одних и почетною метампсихозою прочих. Петербургские заложники называют Москву старую бригадиршею» (230, 57; 173, 49).

На страницах «Современника» этот словесный выпад «в сторону» внезапно отозвался «незаконным» стихам из Вступления к «Медному всаднику»:

...Как перед новою царицей  
Порфироносная вдова.

«Медный всадник» сопровождается в журнале и пушкинским «конвоём».

Вместе с письмом от 11 марта 1837 года Погодин прислал Вяземскому — в пятый том «Современника» — стихотворение Пушкина «Герой». Оно было написано осенью 1830 года в Болдино; дата, выставленная автором, — «29 сентября 1830. Москва» — указывала на день прибытия Николая I в холерную Москву.

Свое авторство Пушкин держал в тайне: «Посылаю вам из своего Памфоса Апокалипсическую песнь, — писал он Погодину из Болдино в начале ноября 1830 года. — Напечатайте, где хотите, хоть в Ведомостях — но прошу Вас и требую именем нашей дружбы — не объявлять никому моего имени» (XIV, 121—122).

«Герой» был анонимно напечатан в первой книжке «Телескопа» за 1831 год; друзья Пушкина — и в частности Вяземский, который обменивался с ним плодами осенних досугов 1830 года, — об этом эпизоде не знали.

В середине марта 1837 года Вяземский просил Одоевского: «Отправьте «Героя» на Съезжую, то есть в цензуру. Отошлите туда и сцены Погодина, которые следует поместить в первой книжке» (106, 77). «Исторические сцены» Погодина «Смерть царя Бориса Федоровича Годунова» были опубликованы в пятом томе журнала; здесь же заново увидел свет и «Герой», сопровождаемый редакционным примечанием, которое вводило читателей в курс дела.

«Герой», снабженный библейским эпиграфом «Что есть истина», организован как равноправный диалог между скептиком-Другом и Поэтом-романтиком. Однако для большинства читателей второй голос звучал гораздо внушительнее и почти отождествлялся с авторским.

Погодин оттого и хотел безотлагательно опубликовать «Героя» под именем Пушкина, что видел в нем «самую тонкую и великую похвалу нашему царю. Клеветники увидят, какие чувства питал к нему Пушкин, не хотевший, однако же, продраться со льстецами».

Поэт

... Небесами

Клянусь: кто жизнью своей  
Играл пред сумрачным Недугом  
Чтоб ободрить угасший взор,  
Клянусь, тот будет Небу другом,  
Каков бы ни был приговор  
Земли слепой!

Уже в августе 1837 года Тургенев писал Вяземскому из Киссингена: «...я узнал (между нами), что великая княгиня Мария Павловна (старшая сестра Николая I) была очень преубеждена против Пушкина и, следовательно, сначала не очень жалела о нем, но, кажется, письмо Жуковского к отцу и мои разговоры о нем, особенно анекдот о стихах после холеры, переменили мнение. <...> Теперь она и сочинения и журнал его выписывает» (140, т. 58, 148).

Финальные реплики «Героя» развивают тот мотив, которого лишен «Медный всадник» и в котором нуждались — быть может, неосознанно — рядовые читатели поэмы.

Поэт  
Оставь герою сердце. Что же  
Он будет без него? Тиран.  
Друг  
Утешься...

В «Медном всаднике» нет утешения: «герой» и «тиран» слились в одну фигуру, обладающую медным сердцем.

В ряде авторитетных изданий появление пятого тома отнесено к апрелю или началу мая 1837 (47, 11; 4, 233). Однако он вышел в свет примерно на месяц позже<sup>4</sup>.

Еще в середине мая Вяземский просил Одоевского отдать в цензуру, а потом и в типографию стихотворение «Петербург» (106, 79). Точное его название — «Петербург с адмиралтейской башни»; оно было опубликовано за подписью «В. Романовский».

Подпись оказалась перевернутой, и автором этого стихотворения был, по-видимому, В. И. Любич-Романович, некогда сотрудничавший в «Литературной газете», но, в общем, посторонний пушкинскому кругу. Какое-то его стихотворение Вяземский в начале декабря 1836 года предлагал Пушкину — очевидно, для четвертого тома «Современника», но тогда публикация не состоялась.

Возможно, готовя пятый том, Вяземский вспомнил о залежавшемся стихотворении, возможно, Любич-Романович — в последний момент — принес новый опус; как бы то ни было, «Петербург» нашел себе место в журнальной книжке между стихами Баратынского и путевыми записками А. И. Тургенева.

Барабанные строфы, заготовленные Любичем-Романовичем («Что если б вдруг теперь ты ожил, Великий Петр! И бросил взгляд, Как твой праправнук блеск умножил...»), включали в себя и перелицовку одического приема из Вступления к поэме.

...Тебя проник Великий Гений,  
И обозрев даль и простор  
Твоих пучинистых владений,

Остановил внезапно взор...  
И рек он: «Здесь да будет город!»  
И мощной волею Петра  
Вот заходил народ как ворот,  
И застучали топора! (230, 249)

«Медного всадника» настигло дальнейшее эхо «Петербурга».

24 мая 1837 года Вяземский сообщал Нащокину: «1-я книжка «Современника» подходит к концу» (140, т. 58, 146).

На исходе первой декады июня 1837 года пятый том, наконец, увидел свет. Объявления об этом появились в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (19 июня, № 25) и в «Прибавлениях к Санкт-Петербургским ведомостям» (23 июня, № 138).

Первый известный нам отзыв о пятом томе послан Вяземскому 11 июня. «Благоволите, князь, простить меня за то, что, не имея положительно никаких местных знакомств, я беру на себя смелость обратиться к вам с просьбой не отказаться вручить кому следует причитающиеся с меня 25 рублей за подписку на 4 тома «Современника». В первом из них есть вещи прекрасные и грустные. Это поистине замогильная книга, как говорил Шатобриан, и я могу добавить с полной искренностью, что то обстоятельство, что я получил ее из ваших рук, придает ей цену в моих глазах».

Федор Иванович Тютчев, не слишком удачно служивший в русской дипломатической миссии в Мюнхене, прибыл на родину в конце мая — начале июня 1837 года. В Петербурге он не бывал с 1830 года, его «Стихотворения, присланные из Германии» публиковались в третьем и четвертом томах «Современника» (за подписью: Ф. Т.) по инициативе Жуковского и Вяземского. С Пушкиным они никогда не встречались.

Перефразируя заголовки мемуаров Шатобриана («Замогильные записки»), Тютчев дал самое точное определение пятого тома «Современника».

Все пушкинские публикации пятого тома — среди них «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времен»,

«Последние три стихотворения» («Была пора: наш праздник молодой...», «Отцы пустыньники и жены непорочны...», «Опять на родине! я посетил...») — были обведены незримой траурной каймой, которая определяла их восприятие современниками.

«Петербургская повесть» непосредственно следовала за письмом Жуковского С. Л. Пушкину. «Но что выразилось на его лице, я сказать словами не умею. (...) Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтической! Нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» (...) Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти» (230, XIV).

Еще пятый том «Современника» находился в работе, когда Одоевский стал набрасывать рецензию (ее предполагалось анонимно опубликовать в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», но цензурой она была запрещена). «Наконец нетерпеливое желание бесчисленных почитателей великого поэта, нами оплакиваемого, теперь удовлетворилось. (...) Первая на нынешний год книжка основанного им журнала (...) уже вышла из типографии и поступила в продажу. Там восемь нигде не напечатанных статей в стихах и прозе самого Пушкина\*; между ними одна полная поэма «Медный всадник»...»

«Потомство!.. о, оно оценит Пушкина; оно поместит его подле северных бардов времен Екатерины и Александра; потомство с благоговением будет изучать поэта...» (97, 313—314).

Рецензии сбивались на некрологический тон. Исключение составляет, пожалуй, регулярное обозрение, ко-

торое в журнале «Московский наблюдатель» вел С. П. Шевырев. (Он же, как установил Н. И. Мордовченко, являлся и автором некролога Пушкину, который ранее был опубликован в этом журнале.) В очередном «Перечне наблюдателя» Шевырев писал: «В «Современнике» напечатана еще последняя поэма Пушкина «Медный всадник». Она принадлежит к числу лучших произведений его пера, уже достигшего высшей степени зрелости в отношении к художественным формам языка. Главная мысль поэмы, заключенная в его герое, не развита вполне, а эскизована: мы намеком ее отгадываем. Великий мастер в отделке, всегда оконченной до возможной полноты (...), Пушкин, столько прилежный и рачительный в исполнении, почти всегда довольствовался одним эскизом» (166, 316). Действительно, журнальный «вариант» поэмы давал основание сетовать на ее «эскизный» характер, но странно, что этот упрек высказал Шевырев — он, ближайший друг и сотрудник Погодина, не мог не знать о существовании подлинного текста «Медного всадника», о ключевой сцене, которая была купирована при публикации в «Современнике». Впрочем, у Шевырева еще будет возможность разъяснить свой взгляд на пушкинскую поэму.

Во второй половине июня началась рассылка экземпляров.

17 июня 1837 года Вяземский посылает Дмитриеву «только что вышедший» том: «Тут и скорбь моя, и заботы, и болезнь, все, что тягчило и развлекало меня...». 19 июня А. И. Тургенев отправляет экземпляр в Симбирскую губернию — своему родственнику И. С. Аржевитинову. 20 июня 1837 года Вяземский просит Одоевского: «Велите, любезнейший князь, переплесть поскорее и по красивее два экземпляра «Современника» для поднесения царю и царице. Вьельгорский их представит. (...) На обертке второго № и на следующих должно непременно вставить: в пользу семейства его, чего нет в заглавии первой книжки (...) Отошлите экземпляр «Современника» к Жуковскому...» (106, 80). Прошло уже полтора месяца, как Жуковский находился в путешествии.

\* В итоге здесь было опубликовано одиннадцать произведений Пушкина.

На титульном листе пятого тома значилось: *Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, кн. В. Ф. Одоевским и П. А. Плетневым*. Начиная с шестого тома, на титуле появилось уточнение, предложенное Вяземским. Жуковскому громоздкая шапка не нравилась; однажды (видимо, в апреле) он предложил Одоевскому: «Не напечатать ли заглавие: Современник, журнал Александра Пушкина? и простее только: Современник, книжки V, VI, VII, VIII» (216, 107).

Этот вариант, который своей лапидарностью более соответствовал вкусам основателя журнала, не был принят; неизвестно, обсуждался ли он вообще. Не следует забывать, что коллективная редакция неизбежно подразумевает сшибку личных вкусов и амбиций: предложение Жуковского прежде всего ущемляло интересы Краевского, которого все еще воспринимали как парвеню в кругу литературных душеприказчиков Пушкина.

Жуковский, невесело шутивший о «семи няньках», приставленных к «Современнику», невольно предсказал отсутствие должного присмотра. «Что это как напечатан «Современник», — отчитывал Краевского Погодин. — Стыдно! Опечатка на опечатке. Хоть бы Пушкина пощадили» (286, л. 17). Самой курьезной опечаткой в тексте «Медного всадника» оказалось внезапное появление «Рыбака» — вместо фамилии поэта Рубана (пятое примечание).

О политическом несовершенстве журнала толковали охотно. Сохранившихся читательских отзывов — очень мало. Мы не знаем и, наверно, никогда не узнаем, как отнеслись к «петербургской повести» Петр Яковлевич Чаадаев, Иван Васильевич Киреевский, Николай Иванович Надеждин, Евгений Абрамович Баратынский, Петр Борисович Козловский; не известны мнения ссыльных декабристов (в Петровском заводе получили пятый том «Современника»<sup>5</sup>), да и людей противоположной складки — таких, как автор доноса на Чаадаева, «острый и безнравственный» (применяя пушкинское определение, данное в другой связи) Филипп Филиппович Вигель (который в марте 1838 года сооб-

щал Одоевскому, что продолжает выписывать «Современник», надеясь «еще беседовать с Пушкиным» — 218, 156) или Фаддей Венедиктович Булгарин<sup>6</sup>.

В мае 1837 года в Петербург приехали Федор и Михаил Достоевские. За несколько месяцев до того, узнав о смерти Пушкина, они, по воспоминаниям их младшего брата Андрея Михайловича, «чуть с ума не сходили (...) Брат Федор (...) несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура (после смерти матери), то он бы просил позволения отца носить траур по Пушкину». По дороге из Москвы в Петербург братья сговорились побывать на Черной речке и пробраться в квартиру на Мойке.

Почти сразу по приезде в столицу — это был еще пушкинский Петербург — шестнадцатилетний Федор Достоевский впервые оглядел Фальконетов монумент и прочел поэму «Медный всадник».

Едва ли не самый любопытный читательский отзыв 1837 года принадлежит Андрею Николаевичу Карамзину.

25 июня 1837 года Екатерина Андреевна писала старшему сыну в Париж: «Я хотела переслать тебе «Современник», но князь Петр Вяземский сказал мне, что он отослал его еще в листах госпоже Смирновой, и я полагаю, что она тебе даст его» (198, 220). 15 июля Андрей Карамзин сообщил, что пятый том он получил.

«...И с восхищением прочел «Медного всадника», жаль, что лучшее выпущено» (198, 321).

Андрей Карамзин уехал из России 23 мая 1836 года: в то время о существовании «петербургской повести» знали лишь достаточно близкие друзья Пушкина. В их числе были и Смирновы, но маловероятно, чтобы Андрей Карамзин говорил о купюрах в тексте «Медного всадника» только со слов этой четы. Смирновы, лицедеишие пометы Николая I на рукописи поэмы, как помним, были совершенно согласны с государем, потребовавшим переделки ключевой сцены; Андрей Карамзин держится противоположного мнения.

По всей видимости, Андрею Карамзину случилось прочесть или услышать «петербургскую повесть» еще при жизни автора (например, на вечере у Жуковского);

что же касается его оценки выпущенных строк («Ужо тебе!..»), то она объясняется не только эстетическими соображениями.

Андрей Карамзин отнюдь не разделял почти всеобщего (и высочайше санкционированного) преклонения перед Петром I. В декабре 1836 года он спорил в Париже с великим князем Михаилом Павловичем: «Я рассказал ему историю Чедаява, она привела нас к цензуре, оттуда — к Пушкину и, наконец, к Петру Великому. Вы знаете, что это для них всех \* божество, что же касается меня, то я обратного мнения. Он утверждал, что Пушкин недостаточно воздаст должное Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он рассматривает его скорее как сильного человека, чем как творческого гения; и тут, со свойственной ему легкостью речи, он начал ему панегирик, а когда я приводил в параллель императрицу Екатерину II, он посылал меня подальше» (198, 372).

Это сообщение Андрея Карамзина никогда специально не рассматривалось. Между тем ни одно из пушкинских произведений, опубликованных при его жизни, не дает оснований для того упрека, который высказал великий князь. Напротив, в «Полтаве» Петр изображен именно как «творческий гений»: «Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь, как божия гроза».

Впрочем, возможно, что у Михаила Павловича вызвал неудовольствие тот образ милосердного императора, который воспет в «Пире Петра Великого», открывшем первый том «Современника» за 1836 год:

Нет! Он с подданным мирится;  
Виноватому вину  
Отпуская, веселится;  
Кружку пенит с ним одну...

Но скорее всего Михаил Павлович опирался на какие-то устные суждения Пушкина. В дневнике поэта есть запись о разговоре с великим князем 19 декабря 1834 года. «Говоря о старом дворянстве, я сказал:

\* Имеется в виду царская фамилия.

„Nous, qui sommes aussi bons gentilshommes que l'empereur et vous etc.” \* В〈еликий〉 кн〈язь〉 был очень любезен и откровенен. „Vous êtes bien de votre famille, — сказал я ему: tous les Romanof sont révolutionnaires et niveleurs” \*\*.— Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы! благодарю, voilà une réputation que me manquait \*\*\*» (XII, 335).

В отличие и от Михаила Павловича, боготворившего Петра, и от Андрея Карамзина, державшегося о нем «обратного мнения», Пушкин не подходил к этой личности с одним предустановленным масштабом. Может быть, более всего Пушкина интересовала именно разнolikость Петра, резкая смена тех исторических амплуа, в которых первый русский император представлял на исторической сцене. «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика.

NB. (Это внести в Историю Петра, обдумав)» (X, 256).

Пушкинская запись перекликается со свидетельством французского литератора А. Лева-Веймара, который встречался с Пушкиным летом 1836 года. В статье о Пушкине, опубликованной 3 марта 1837 года в «Journal de Debat», Лева-Веймар, в частности, коснулся работы над «Историей Петра». «Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого таким, каким он был в первые годы своего царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера и с какой радостью, с каким удовлетворе-

\* Мы такие же родовитые дворяне, как император и вы, и т. д. (фр.).

\*\* Вы истинный член вашей семьи. Все Романовы революционеры и уравнители (фр.).

\*\*\* Вот репутация, которой мне не доставало (фр.).

нием правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять «даже словами» мятежников, приходивших просить у него милости».

«Взгляды Пушкина на основание Петербурга,— вспомянул также Леве-Веймар,— были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта» (253, 416).

Это наблюдение слишком лаконично, чтобы строить на нем далеко идущие выводы. Однако соблазнительно применить его к «петербургской повести», в которой взгляд «поэта» оспорен «историком».

Параллельно с работой над пятым томом «Современника» шла подготовка посмертного собрания сочинений Пушкина. В двадцатых числах марта 1837 года Жуковский, показывавший Никитенко рукопись «Бориса Годунова», некогда представленную Николаю I, сообщил ему о «высочайшей» резолюции по поводу нового издания. В дневнике Никитенко она изложена следующим образом: «Согласен, но с тем, чтобы все найденное мной неприличным в изданных уже сочинениях было исключено, а чтобы не напечатанные еще сочинения были строго рассмотрены» (168, 198)<sup>7</sup>. Подлинный же текст резолюции таков: «Согласен, но с условием выпустить все, что не прилично из читанного мною в «Борисе Годунове», и строжайшего разбора еще неизвестных сочинений». Передача всех полномочий общей цензуре угрожала судьбе целого ряда произведений — в том числе «Истории Пугачевского бунта» и «Медного всадника», одобренных лично Николаем I. Двусмысленность ситуации была очевидна, и Жуковский снова обратился к государю. Около 31 марта Никитенко занес в дневник «приятную новость»: «...государь велел напечатать уже изданные сочинения Пушкина без всяких изменений. Это сделано по ходатайству Жуковского. Как это взбесит кое-кого. Мне жаль князя (М. А. Дондукова-Корсакова), который добрый и хороший человек: министр Уваров употребляет его как орудие» (168, 199). Николай I, однако,

не обеспокоился засвидетельствовать свою волю на бумаге, и потому 5 апреля 1837 года Жуковский был вынужден подать о том специальное прошение. На документе, в котором Жуковский напоминал о разрешении не подвергать опубликованные произведения Пушкина «новому разбору», государь наложил резолюцию: «Нет затруднений».

По всей вероятности, к «сочинениям, уже напечатанным», причислялись и те, которые были дозволены для публикации в «Современнике». Во всяком случае «Медный всадник» более не цензурировался: публикация «петербургской повести» в собрании сочинений полностью воспроизводила первопечатный текст, включая четыре стиха из Вступления, которые по оплошности Николая I увидели свет в пятом томе «Современника».

Первоначально задумывалось собрание в семи томах, и завершающий отводился под «стихотворения, найденные посмертно» (149, 70). По ходу дела издание разрослось до одиннадцати томов, и «посмертный» Пушкин потребовал уже трех томов (IX—XI), которые вышли в свет только летом 1841 года. Девятый том открывался «Медным всадником».

Наступало время для спокойных оценок и развернутых интерпретаций.

11 ноября 1841 года рецензия на заключительные тома собрания сочинений Пушкина появилась в «Санкт-Петербургских ведомостях». Она была написана Амплием Николаевичем Очкиным, редактором этой газеты.

«Главное действующее лицо в «Медном всаднике», бедный чиновник Евгений, составляет резкую противоположность с своим соименником, Онегиным, а между тем может идти вровень к мастерски обрисованному портрету последнего. Один бедняк, забытый счастьем, но с сердцем теплым, бьющимся для своей Парашки, и теряющий ее, единственное свое благо, в день всеобщего бедствия; другой, взысканный всеми дарами счастья, но не умевший ими воспользоваться, потому что слишком рано отжил жизнью сердца, и в самом себе встретивший казнь за свое бессердечие. Герой «Медного всадника» почти заслонен поставленной

вокруг него огромною декорацией, представляющею картину наводнения и среди него колоссальное изваяние Петра Великого. Эта картина начертана истинно художнической кистью».

Этот краткий отзыв примечателен тем, что вся «петербургская повесть» как бы ограничена Первой частью — «поэмой о Петербургском потопе» в прямом смысле слова. И кульминация, на взгляд критика, происходит в тот момент, когда стихия, глумящаяся над «бедняком» Евгением, бессильно отступает от памятника основателю города.

Сходным образом «петербургскую повесть» оценивали и профессиональные критики (Павел Александрович Катенин, взыскательный судья пушкинских творений, выделял в ней одно «прекрасное место»: «картину постепенного прилива и внезапного разлива реки» — 140, т. 16/18, 640), и многие обыкновенные читатели. Когда актер П. А. Каратыгин (Каратыгин 2-й) позднее описывал ужас, испытанный 7 ноября 1824 года, ему естественно пришел на память «чудный „Медный всадник“»: «И точно, мудро себе вообразить более грозную и поэтическую картину, которая представлялась в этот злополучный день на Сенатской площади, где посреди бунтующей стихии величественно возвышалось медное изображение чудотворного строителя Петербурга» (114, 126). В XIX, да и в XX веке строки о петербургском бедствии вообще очень легко отчуждались от поэмы, расходивались как часть всеобщего достояния, часто переиначивались по вкусу цитирующего. Подобное восприятие сочетало в себе культ великого поэта и подсознательное представление о самородности, самозарожденности (и в конечном счете — *анонимности*) заученных с детства стихов. В рассказе И. Ф. Горбунова «Мысли вслух на парадном подъезде», написанном в 1880-е годы, старик-швейцар, перелистывая страницы своей жизни, вспоминает и «страшную картину петербургского наводнения. Он был свидетелем того момента, когда

Нева вздувалась и ревела,  
Котлом клокоча и клубясь —

И вдруг, как зверь остервенясь,  
На город кинулась...

Перед ним, как живые, встали его растерявшиеся господа, смотревшие в окно на проявление Божьего гнева...»

На выход последних томов посмертного собрания откликнулся и журнал «Москвитянин», который издавал Погдин при ближайшем участии Шевырева. Еще в апреле 1837 года Шевырев собирался писать статью о Пушкине, но лишь в конце 1841 года он исполнил свой давний замысел. Статья Шевырева содержит и важные мемуарные свидетельства о Пушкине, и общие суждения о «механизме русского стиха».

«В «Медном всаднике» чудеса русского стиха достигли высшей степени. На первом плане вы видите здесь мастерски набросанную картину петербургского наводнения; далее, на втором плане, сумасшествие молодого Евгения и эту чудную картину Великого бронзового всадника, который с грохотом скачет неотступно за безумным. Каким чутким ухом Пушкин подслушал этот медный топот в расстроенном воображении юноши! Как умел он тотчас найти поэтическую сторону в рассказе события, кем-то ему сообщенном!

Если взглянуть слегка, поверхностно, то, по-видимому, между наводнением столицы и безумием героя нет никакой внутренней связи, а есть только одна наружная, основанная на том, что влюбленный юноша в волнах потопа теряет свою любезную и все счастье своей жизни. Но если взглянуть мыслящим взором внутрь самого произведения, то найдешь связь глубже: есть соответствие между хаосом природы, который видите вы в потоке столицы, и между хаосом ума, пораженного утратой. Здесь, по нашему мнению, главная мысль, зерно и единство художественного создания; но мы не можем не прибавить, что этот художественный мотив, достойный гениальности Пушкина, не был развит до конечной полноты и потерялся в какой-то неопределенности эскизованного, но мастерского исполнения» (165, 244—245).

«Первый» и «второй» планы — это Первая и Вто-

рая части поэмы, которые, по Шевыреву, объединены мотивом «безумия» (природного и человеческого). Наблюдение тонкое, предвосхищающее ход мыслей исследователей XX века, но оно подразумевает более подробные разъяснения, от которых критик уклонился. Он предпочел повторить свой давний упрек («эскизованное исполнение» поэмы) — и как будто оборвал свою речь на самом интересном месте. Так же как и Очкин, Шевырев не коснулся сцены у памятника, пусть и в урезанном виде, но присутствовавшей в тексте 1837 года. Обдуманная недомолвка посвященной или скрытая укоризна?

В 1841 году ведущий критик «Отечественных записок» дал только общий обзор последних томов посмертного издания, обещав, что развернет свою точку зрения в особой статье или даже в «целом ряде статей».

Цикл статей Белинского о Пушкине был опубликован в 1843—1846 годах; последняя из них (одиннадцатая) подводила черту и под сотрудничеством критика в «Отечественных записках» — журнале, который издавался Краевским, одним из редакторов пятого тома «Современника». Белинский прежде всего попытался разрешить недоумение, владевшее читателями поэмы. «Медный всадник», писал он, «многим кажется каким-то странным произведением, потому что тема его, по видимому, выражена не вполне. По крайней мере, страх, с каким побежал помешанный Евгений от конной статуи Петра, нельзя объяснить ничем другим, кроме того, что пропущены слова его к монументу. Иначе почему же вообразил он, что грозное лицо царя, возгорев гневом, тихо оборотилось к нему, и почему, когда стрелглаз побежал он, ему все слышалось,

Как будто грома грохотанье,  
Тяжело-звонкое скаканье  
По потрясенной мостовой!..

Условьтесь в том, что в напечатанной поэме недостает слов, обращенных Евгением к монументу,— и вам сделается ясна идея поэмы, без того смутная и неопределенная».

Вопрос о том, был ли знаком Белинский с полным

и подлинным текстом «петербургской повести», регулярно дискутируется в научной печати, однако ввиду отсутствия фактических данных оба альтернативных вывода остаются в сфере гипотез<sup>8</sup>.

Впрочем, как бы ни обстояло дело, вопрос этот представляет сравнительно частный интерес, поскольку итоговая характеристика «Медного всадника» в равной степени приложима и к авторскому тексту поэмы, и к ее журнальной редакции. «И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного... При взгляде на великана, гордо и неколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осуществляющего собою несокрушимость его творения,— мы хотя и не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость и что его взгляд на нас есть уже его оправдание...»

Толкование Белинского открыло в поэме конфликт между «общим» и «частным», между «разумной волей», «олицетворенной» в Медном всаднике, и «горестной участию личности, страдающей как бы вследствие избрания места для новой столицы»; наличие этого фундаментального конфликта, как явствует из контекста статьи, не зависит от того, какие конкретные формы он принимает и насколько мотивированы те или иные поступки персонажей.

Так определилось важнейшее правило чтения «Медного всадника», имевшее обширный срок действия: именно «эта интерпретация легла в основу всех позднейших направлений в понимании историко-философской концепции «Медного всадника», как бы далеки друг от друга, даже формально противоположны ни были эти направления» (4, 251).

Статья Белинского содержит одно замечательное наблюдение, которое брошено как бы мимоходом. Для того чтобы лучше его понять, необходимо вспомнить опубликованную годом ранее его статью «Петербург и Москва». «Торжественна была минута,— писал здесь



Белинский, — когда при осмотре диких берегов Финского залива впервые заронилась в душу Великого мысль основать здесь столицу будущей империи. В этой минуте была заключена целая поэма, обширная и грандиозная; только великому поэту можно было разгадать и охватить все богатство ее содержания этими немногими стихами:

На берегу пустынных волн

⟨...⟩

И запируем на просторе».

Белинский не ограничивается здесь только темой Вступления. «Казалось, судьба хотела, чтобы спавший дотеле непробудным сном русский человек кровавым потом и отчаянною борьбою выработал свое будущее, ибо прочны только тяжким трудом одержанные победы, только страданиями и кровию стяжанные завоевания!»

Но ведь «человек не одолеет природы», предрекал некогда Карамзин, завещавший свое беспокойство автору «петербургской повести». Белинский, разумеется, не мог догадываться ни о выпущенных по цензурным соображениям фрагментах из «Записки о древней и новой России», ни о карамзинском подтексте «Медного всадника», однако его утверждение звучит как ответная реплика: «Воля одного человека победила и самую природу». Символизирует же эту победу новая русская столица, выстроенная в краю «неприятном и враждебном человеку»<sup>9</sup>.

«Да, эта поэма — апофеоза Петра Великого...» — констатировал критик в одиннадцатой статье о Пушкине. Но не основатель Петербурга является главным действующим лицом: «настоящий герой ее — Петербург». Это наблюдение позволило, наконец, установить единство Вступления, Первой и Второй частей «Медного всадника».

Такие открытия современники обычно не замечают или не могут оценить.

Начиная с 1840-х годов, Медный всадник — это и «петербургская повесть» Пушкина, и Фальконетов монумент, и сам Петр Великий. Название поэмы скоро перестало восприниматься как авторское; Медный всадник, как бы объединивший три эпохи русской истории (петровскую, екатерининскую и новейшую), был сопчислен к официальной символике.

В июньской книжке «Московского наблюдателя» за 1838 год (она, впрочем, появилась только осенью) был напечатан первый, кажется, послепушкинский «Медный всадник». Поэт И. П. Ключников даже счел нужным снабдить свое стихотворение поясняющим подзаголовком: «Сознание России у памятника Петра Великого».

Есть у бога под луною  
 Много городов. Один —  
 Чудный град — там, над Невою  
 Скачет конный исполин. ⟨...⟩  
 На краю вселенной смело  
 Он воздвиг наш дивный град,  
 В нем он жив — и век уж целый  
 Царства на него глядят.  
 Смело он на них взирает,  
 Волю божию, закон —  
 Он России представляет,  
 Через Европу скачет он...

«Московский наблюдатель» в ту пору редактировал Белинский, и здесь активно печатались выходцы из кружка Станкевича. Глава кружка находился в Европе, откуда иногда присылал отзывы о журнальной продукции своих приятелей. «Особенно хорош», по его мнению, был ключниковский «Петр Великий». Белинский (тоже еще не привыкший к пушкинскому нововведению) решительно возражал Станкевичу. «Как? — бенедиктовское, риторическое, не только лишенное цели, которую дает пьесе идея, но даже и внешней

связи здравого смысла, стихотворение Клюшникова к Петру — превосходно <...>?»

Тогда, конечно, невозможно было предвидеть, что массовая литература, оплакав кончину Пушкина, воздаст ему особую честь на свой манер — займется переписыванием его строк, строф, целых фрагментов. В 1839 году, пока Белинский спорил со Станкевичем, неизвестный автор «Сына отечества» сформулировал, как умел, эту программу («... Ах! как бы превосходно Вам Пушкин мог преданье рассказать! Но где же он? Где Пушкина нам взять? Любя его прекрасные октавы, Хочу я в них расказать представить мой, Царя Петра деянья и забавы...»), а Б. М. Федоров, за спиной которого был долгий и не очень славный литературный путь, выступил в альманахе «Утренняя заря» со стихотворением «Утро перед памятником Петра Великого».

...Смотрю, как памятник Петра  
Уже заря осиявает;  
Пред дивным всадником гора  
Чело гранитное склоняет. <...>  
Восстани, Петр, и зри Россию,  
Как возвеличена Тобой!  
Смирив враждебную стихию,  
Неколебим Петрополь твой,  
Нева кипит под кораблями,  
И на вратах — побед трофей.  
Златыми высится верхами  
Твой град, в красе дневных лучей...

Но поэтическое эхо не бездумно вторит автору «Медного всадника», оно существенно меняет его интонацию и акценты. Тревожащий вопрос: «Куда ты скачешь гордый конь?» — снят авторитетным указанием: «*Чрез Европу скачет он...*». А пушкинское заклинание — «Красуйся град Петров, и стой Неколебимо как Россия. Да усмирится же с тобой И побежденная стихия...» — теперь выглядит наивным, ибо город, по-видимому, надежно огражден от нашествия вод: «*Смирив враждебную стихию, Неколебим Петрополь твой...*».

Этот крен в патриотическую, а порой и воинствен-

ную патетику потребовал выполнения отсутствующего в «Медном всаднике» мотива змеи, который находим и у Бориса Федорова («Летит наш исполин державный, Попрал змею герой венчанный...»), и у Андрея Подолинского, поместившего стихотворение «Памятник Петра Великого в Санкт-Петербурге» в следующем томе альманаха «Утренняя заря» (1840):

Столицы Невской посетитель,  
Кто б ни был ты,— Петру поклон!  
Сей Медный всадник — это он,  
Ее державный прародитель!  
Как мощны конь и человек!  
То Петр творящей мыслью правит,  
Летит, отважный, в новый век  
И змея древних козней давит...

Некто С. Маслов, в 1850 году предпринявший смелую попытку почти целиком «перевести» Вступление на свой удивительно косноязычный язык, допустил, пожалуй, единственную отсебятину, введя мотив змеи<sup>1</sup>.

Тут, над дикой вышиной  
На бронзовом коне сидит  
С простертой дланию десной,—  
Российский великан! Лежит  
Под ним весь в кольцах змей,  
Погибший участью своей.  
Сей величавый монумент  
И надпись яркая на нем \*  
Взор поражают в миг, в момент,  
Великолепием во всем,  
Какой-то прелестью искусства,  
Чарующей все наши чувства...

Но куда было тягаться безвестному графоману (впрочем, изыскавшему средства для отдельного издания своего «Краткого, в стихах, очерка С. Петербурга») с известным столичным трагиком В. А. Каратыгиным, который в начале 1850-х годов переложил Вступление

\* Любопытно, что в черновиках поэмы, опубликованных много позже, есть строка: «И надпись яркую прочел».

для сцены, избрав его для так называемой «фрачной роли».

«Вот он (...), перейдя на высокие ноты, загремел, когда пошла речь о том, что отсель грозить мы будем шведу. Правая рука показала даже и это место в оркестре, немного вправо от будки, в которой, конечно, сидел, беззаботно понюхивая табачок, суфлер, совсем не нужный актеру за все это время.

Здесь будет город заложен,— и та же правая рука указывает новый пункт, гораздо дальше и уже влево. Она же тотчас потрясается,— это угрожающий знак того, что город выстроен на зло надменному соседу, и она же, рассекая воздух сверху вниз, не медлит назнаменовать тот способ, каким будет прорублено окно в Европу. Следом за тем, и также нисколько медля, движением ноги объяснено было нам, насколько твердо пятью встанем у моря и запируем на просторе. (...)

Еще один момент — и снова обе руки быстро сложились на груди крестом, потому что проходят те сто лет, в течение которых в темных лесах, на болотных топях горделиво выросла пышный город (...). Слово «пышно» вылетело из уст, подобно колечку дыма, какие пускают умелые курильщики, а слово «горделиво» было сказано с головой, откинутой назад, и густой октавой.

«...» Всю эту строфу актер постепенно доводил до необычайного крика (...). На самом последнем стихе он, однако и сам стих вдруг, неожиданно и круто, и пустил его на глухой октаве, так как, очевидно, желал показать, что суда находятся в тихой и надежной пристани. (...)

В своем месте, дальше предъявлено было, как мосты повисли над водами (...) и как темно-зелеными садами покрылись острова в гранит одетой Невы, причем красноречивая правая рука шевелилась таким медленным образом, точно успокоившийся чтец гладил в это время жирного кота вдоль спины».

Льстя столичной амбиции своих зрителей, актер особенно изощрялся, декламируя строки о Москве и Петербурге. «И опять руки сложены крестом на груди, и опять потуплены глаза и наклонена голова, даже

на этот раз гораздо ниже, чем прежде. (...) С матушкой Москвой содеялось великое злосчастье: сбита у нее спесь и сломлена гордыня; волей-неволей пришлось ей смириться и покориться, склонив свою седую голову перед младшею столицей» (154, 473—476) <sup>2</sup>.

И каратыгинская инсценировка, и многочисленные перепевы начальных строк «Медного всадника» (которые отечественные стихотворцы ровно двадцать лет — от момента публикации «Петербург» в «Библиотеке для чтения» и до конца николаевского царствования — регулярно откликались на торжественные события <sup>3</sup>) обслуживали довольно значительную аудиторию, воспринимавшую Вступление как некий экстракт всей поэмы.

Массовое сознание, как помним, также обособляло от поэмы строфы о петербургском потопе; их так и перепечатывали под заголовком «Наводнение» (95, 387—388).

Здесь действовала центробежная сила, которую сполна ощутил Чернышевский, когда, уже будучи на последнем курсе петербургского университета, впервые прочитал «Медный всадник». В феврале 1850 года, получив от А. В. Никитенко (преподававшего русскую словесность) задание написать разбор поэмы, Чернышевский для начала списал текст из книги, принадлежавшей его знакомцу Н. Я. Данилевскому (члену недавно разгромленного кружка петрашевцев, а в будущем — серьезному мыслителю консервативного толка, автору знаменитой книги «Россия и Европа», которой зачитывался Достоевский). «Гораздо слабее, чем я думал, это произведение,— записал Чернышевский в дневник,— «Русалка» (...) и «Дон-Жуан» гораздо лучше, гораздо лучше. (...) Я разбирал довольно строго, хотя с большим снисхождением — для Никитенки; если б писал для журнала, верно б резче». В своей студенческой работе Чернышевский принимает тезис Белинского: «человек, дающий известное направление делам в видах общего блага, прав ли перед тем, кто терпит от этого направления? В этом самом общем и самом существенном виде нет никакого сомнения в справедливости решения Пушкина». Итоговый же вы-

вод Чернышевского-студента таков — в «Медном всаднике» «характеров нет (...), а только картины» (98, 132) <sup>4</sup>.

Распадение целого на «картины» — результат той дезориентации читательского (и отчасти литературного) сознания, которая хорошо описана в недавно опубликованной работе Л. В. Пумпянского: «в формах сюжетного произведения развита повесть ни о чем, без начала и конца, не сюжет, а столкновение...» (193, 111). Роль же Петербурга в поэме (ее главного героя, по мнению Белинского) осмыслить было очень трудно — в обыденной жизни не существовало единого образа столицы, поскольку она включала два противоположно устроенных города, практически не сообщающихся друг с другом. Контраст между Невским проспектом и Колодной («центром и окраиной») многократно обыгрывался петербургскими сочинителями вплоть до конца XIX века; Ф. В. Булгарин в одной из повестей, вышедшей еще до публикации «Медного всадника», восклицал: «Есть люди, которые в роскошном прихотливом Петербурге живут как в Камчатке или в Березове! (...) В грязном домике <дело происходит на Петербургской стороне>, о котором идет речь, не было ни малейших следов преобразования России Петром Великим, не было никаких следов открытия Америки и краткого пути в Восточную Индию» (51, 4) <sup>5</sup>. Начиная с Гоголя, именно периферийный, «не парадный» Петербург стал доминирующей темой в отечественной словесности. И многие из тех, кто вышел из гоголевской «Шинели», числили в своем литературном родословии автора «Петербургской повести». «Пушкину в «Медном всаднике» Петербург явился только с его грандиозной стороны, — заметил как-то Аполлон Григорьев, немедленно, впрочем, подчеркнув, что, «изображая бедную судьбу своего героя», Пушкин «почувствовал первый тот мутный и серый колорит, который лежал на тогдашней петербургской жизни...» (79, 250).

Для обыкновенного человека, забредающего в «грандиозный» Петербург или обитающего в нем, особен-

ную опасность представляет место, где Евгений узнал Того,

Кто неподвижно возвышался  
Во мраке медною главой...

Здесь оказался уязвлен мелкий чиновник — герой повести В. И. Даля «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту» (1843). Первые тридцать лет этот Осип Иванович (насмешливо прозванный Гомером), меняя квартиры, постепенно передвигался от Невского монастыря к Дворцовой площади; вторую половину жизни он провел в обратном движении, удаляясь от центра. Поворотным событием — в буквальном смысле — явилась прогулка по Сенатской площади, куда его застали приятели.

«Поравнявшись с памятником Петра Великого, Осип Иванович остановился; изумление растянуло лицо его в длину, и он невольно снял шапку. Но едва погружился он в созерцательное забытие, то есть по всегдашней привычке своей зазевался, как карета четверней, которая везла какого-то большого барина, вероятно, к весьяма спешному обеду, накатила на Иосифа со страшным стуком и молниеобразною быстротою. Гомеру казалось, что он лежит уже под колесницей, и всеми силами рук и ног своих он упирался и противодействовал всесокрушительным ударам колес; тщетная борьба длилась только мгновение, и Иосиф очулся на жесткой мостовой, куда метнула его мощная рука приятеля, спасая от потоптания лошадьми и колесования рыдваном. С ним-то, с приятелем, Осип Иванович боролся усиленно, обезумев в испуге и приняв спасительную десницу приятеля своего за роковую спицу цепляющего за него колеса.

<...> В то время нередко случалось, что шалуны отвергивали позолоченные верхушки копий от ограды памятника; надзор за этим поручался сенатскому караулу; Осип Иванович с испугу от наехавшей кареты ухватился за прут решетки и вскочил на каменное основание ее; часовому показался прыжок этот издали подозрительным, он закричал ефрейтора, и Иосифа ни с того, ни с сего взяли было на гауптвахту».

В дальнейшем «одно только воспоминание о памяти Петра Великого заставляло его на улице снимать со страхом шляпу, а у себя дома оглядываться во все стороны, не угрожает ли опять откуда-нибудь бедствие и гибель».

Соседство с памятником Петра чревато опасностью для любого человека, и столичный гражданин, даже любующийся «огромным всадником», как лирический герой поэмы Н. П. Огарева «Юмор», испытывает те же ощущения, что и пушкинский Евгений.

И я невольно был смущен;  
Печально, робкими шагами  
Я отошел, но долго он  
Был у меня перед глазами;  
Я от него был отделен  
Адмиралтейскими стенами,  
А он за мною все следил,  
И вид его так мрачен был<sup>6</sup>.

«Шум внутренней тревоги» внятно слышит и приезжий, оказавшийся в виду Медного всадника. Калинович, герой романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858), впервые попадая в столицу, разумеется, отправляется осматривать достопримечательности. Дойдя до памятника Петру, он «постоял около него несколько времени, обошел его раза два кругом, взглянул потом на Исаакия. Все это как-то раздражающим образом действовало на него. Не зная сам куда идти, он попал на Вознесенский проспект». Так начались скитания Калиновича по Петербургу, и вечером «овладела им непонятная и невыносимая тоска.

— Что ж это такое? — думал он. — (...) Это что-то большее, чем любовь и раскаянье: это скорей какой-то страх за самого себя, страх от этих сплошной почти массой идущих домов, широких улиц, чугунных решеток и холодом веющей Невы!»

Наваждение Медного всадника властвовало и над решительными поклонниками Петра Великого. «В Петербурге долго стояли метели,— писал в 1860 году литератор-разночинец И. Г. Прыжов,— и вот, ночью, проезжая мимо Петра, я останавливался и с каким-

то трепетом смотрел на этого мрачного всадника, как он, среди мертвой тишины, покрытой снегом, продолжал скакать и попирать ехидну (...). И этот образ всадника, неумоимо, постоянно действующего, преследовал меня в Петербурге: я нигде не мог от него отделиться» (192, 271).

Отъезд из столицы не спасал от этого страха. Персонажу повести Д. В. Григоровича «Сон Карелина», забывшему думать о Петербурге, Сенатская площадь напоминала о себе в ночных видениях. «(...) Первое мое впечатление соединяется с ощущением нестерпимого холода. Я стоял на самом углу Сенатского здания, подле высокого гранитного фундамента, который закругляется в этом месте к Английской набережной. (...) Никто мимо не проходил и не ехал. Я заключил, что было еще рано. (...) Ветер усиливался и нестерпимо начал резать лицо. Было так холодно, так нестерпимо было холодно, что, казалось, весь Ледовитый океан тронулся с места, надвинулся и остановился там, где-то за Васильевским островом. Я окончательно ушел в воротник шубы. Минуту спустя, приподняв ресницы, увидел я справа памятник Петра. Всадник и под ним конь, так быстро взбежавший на скалу, казалось, примерзли к граниту; самая скала показалась мне промерзшею насквозь до глубины своей сердцевины. Внутри памятника, в пустом пространстве, прикрытом бронзовою оболочкою коня и всадника, должен был нарасти густой слой иглового инея; снаружи, на выступающих частях памятника, бронза отливала холодным гляncем, от которого озноб проходил по членам, и только на простертой руке Петра, да еще на лаврах, покрывающих его голову, белел снег, обозначающий беловатыми пятнами в сером, обледенелом воздухе».

В это время к Сенатской площади приближалась похоронная процессия, зрелище которой усугубило меланхолию одинокого странника. Его внутренний монолог завершался пассажем, не вошедшим в окончательный текст рассказа: «Совсем не все равно, что покойник ничего не будет чувствовать. Чувство быстрого перехода от жизни к смерти, к неведомому, чувство заброса, уединения среди глухой ночи остается

само по себе и наполняет душу тоской и страхом...» (276, л. 6 об.).

Григорович писал повесть в 1875 году, когда в «Отечественных записках» публиковался «Подросток» Достоевского. «В петербургское утро, гнилое, сырое и туманное», Аркадий Долгорукий, главный герой романа, «сто раз» рисовал фантасмагорическую картину. «Мне <...>, среди этого тумана, задалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметя с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазии, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: „Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, — и всё опять вдруг исчезнет“» (часть первая, глава восьмая).

Петербургский морок, сводящий с ума людей и снедающий саму столицу, — этот мотив, как уже отмечалось исследователями, Достоевский впервые развил в финале «Слабого сердца» (1848). Но если Аркадия Нефедевичу привиделось, что весь город «искурится паром» — «со всеми жилищами», «приютами нищих или раззолоченными палатами», то в грезе Аркадия Долгорукого бронзовый исполин, наводящий трепет на жителей Петербурга, сохранился как единственный реликт исчезнувшей столицы, как комически жалкий обломок всей петровской цивилизации.

В записной книжке Достоевского 1870-х годов есть набросок, переводящий образ Всадника, который торчит среди болота, в иной — публицистический ракурс. «Народ. Там всё. Ведь это море, которого мы не видим, запершись и оградясь от народа в чухонском болоте.

Люблю тебя, Петра творенье.  
Виноват, не люблю его.

Окна, дыряя — и монументы» (86, 359).

Зрительное впечатление, впрочем, то же самое: пустота, прорезаемая подъятой десницей.

Предание о неизбежной гибели столицы, противостественным образом возникшей на болоте, все эти годы было на слуху. В 1830-е годы (а, может быть, и раньше) распространялось стихотворение, которое непосредственно ассоциировалось с «Торжеством смерти» Печерина и приписывалось то Лермонтову, то Александру Одоевскому.

...И день настал, и истошилось  
Долготерпение судьбы;  
И море шумно ополчилось  
На миг решительной борьбы...<sup>7</sup>

Русский император, только что одолевший мятежных подданных, вострепетал при виде стихии: Николай I как будто превратился в своего старшего брата:

Но пуст и мрачен был дворец,  
И ждет один он свой конец.  
И мрачно он на крышу всходит  
Столетних царственных палат  
И сокрушенный взор наводит  
На свой великий, пышный град...

Самая же известная вариация на эту тему принадлежит Михаилу Александровичу Дмитриеву. Поначалу его «идиллия» «Подводный город» получила широкое хождение в списках, но даже после того, как она была включена в сборник стихотворений М. А. Дмитриева (в 1865 году), общественное сознание продолжало не признавать подлинного автора. Известный историк Петербурга П. Н. Столпянский называл ее «старой русской песней», да и в самое последнее время атрибуция «Подводного города» стала предметом полемики (4, 245). Отчасти это объясняется весьма скромной репутацией Михаила Дмитриева: племянник И. И. Дмитриева, дебютировавший в литературе еще

в 1820-е годы, так и остался «Лжедмитриевым», самозваным автором собственного произведения.

...Молча на воду спускает  
Лодку ветхую рыбак,  
Мальчик сети расстилает,  
Глядя молча в дальний мрак!  
И задумался он, глядя,  
И взяла его тоска:  
«Что так море стонет, дядя?» —  
Он спросил у рыбака.

Старший указывает на высывающийся из воды шпиль:

Тут был город всем привольный  
И над всеми господин,  
Нынче шпиль от колокольни  
Виден из моря один.  
Город, слышно, был богатый  
И нарядный, как жених;  
Да себе копил он золото,  
А с сумой пускал других!

Во всех известных нам списках «Подводного города» цитированная строфа завершается гораздо более выразительным двустишием, которое, возможно, восходит к доцензурной авторской редакции: «Для себя ковал он золото И [А] железо для других!»<sup>8</sup>

Богатырь его построил;  
Топь костями он забутил,  
Только с богом как ни спорил,  
Бог его перемудрил! <...>  
Но подула буря с моря,  
И назад пошла их рать,  
Волн морских не переспоря,  
Человеку вымещать!  
*Все за то, что прочих братьий*  
Брат богатый позабыл,  
Ни молитв их, ни проклятий  
Он не слушал, ел да пил. <...>  
Мальчик слушал, робко глядя,

Страшно делалось ему:  
«А какое имя, дядя,  
Было городу тому?»  
«Имя было? Да чужое,  
Позабывшее давно,  
Оттого что не родное —  
И не памятно оно».

Выделенная курсивом строка представлена в списках разнообразными вариантами: «Все за то, что младших братьий...» — «Все за то, что бедных братьий...» — «Все за то, что старших братьий...» Поскольку в печатном тексте интересное нас определение имеет подчеркнуто нейтральный характер, резко контрастирующий с эмоциональным контекстом этой строфы, все приведенные варианты следует принять во внимание при попытке реконструировать дефинитивный текст «Подводного города». Отметим лишь особую мотивированность словосочетания *старших братьий*<sup>9</sup>: «идиллия» Дмитриева написана 11 апреля 1847 года — как раз в пору семисотлетнего юбилея Москвы, вновь обострившего противоречия между древней и новой столицами.

К этому событию москвичи готовились загодя — с начала 1840-х годов. Невинные аллегории цензура еще пропускала, и читатели первой книжки «Москвитянина» за 1841 год могли оценить сравнительную характеристику «брата и сестры», данную М. Н. Загоскиным. «Жить в тесноте она не может; ей надобен простор; то есть: особый дом, высокие, большие комнаты, обширные службы, а пуще всего хотя грязный, да просторный двор с небольшим садиком <...>; точно так же, как ее брат любит гранитные тротуары, великолепные набережные и чугунные мосты, она любит берега реки, обросшие травой, сады, рощи <...> Стоит только на нее взглянуть, чтоб увериться в ее совершенной ненависти ко всякому единообразию и симметрии». В такой же манере был написан в 1844 году очерк Федора Глинки «Город и деревня», но его публикация состоялась только через четырнадцать лет — уже в новую эпоху. «В Городе все на спех и на срок, и нет там человека, который прохаживался бы просто для

прогулки — и жил бы просто для жизни. Всякий подчинен своему началу, всякий имеет свое звание, место, свое местное значение винта или гайки в той огромной машине, которой тысячи колес и рычагов ходят и движутся в течение целого рабочего дня...».

Деревня — дело другое. «...Два раза почтовых перемишь, пока из конца в конец кругом ее объедешь <...> В ней нет — кроме площадей — ничего плоского, прозаического: все возвышенность, все поэзия. <...> Город хвалится: «мне-де сотня лет!» А деревушка ухмыляючись отвечает: «Вот ты старик каков!.. А сколько я прожила твоих веков, сам смекни и вычитай; у меня станет по целому году на каждую твою версту! <...> Я тебя слушаюсь, а ты меня уважь: через три года, дитяtko, на своей телеге безоглобельной <...> приезжай с гостями заморскими повидаться с своей бабушкой. Поклонись, красавец-сотенник, старой бабе семисотенной!»

— У меня есть,— говорит город,— камень, а на камне том — медный конь под Царем!

— И у меня есть столбик, а на столбике том гражданин стоит богатырем, а боярин глядит орлом!» (72, 282—287)<sup>10</sup>.

Глинка, как и все москвичи старшего поколения (исключая, пожалуй, М. А. Дмитриева), — защищается, хотя и задиристо. Славянофилы же, представители молодого поколения, — проклинают Петербург, объявляют ему войну насмерть. Тревожа память Петра, К. С. Аксаков в стихотворении 1845 года (опубликованном через тридцать пять лет) восклицал:

Ты граду дал свое названье,  
Лишь о тебе гласит оно,  
И — добровольное сознание —  
На чуждом языке дано.  
Настало время зла и горя,  
И с чужестранною толпой  
Твой град, пирующий у моря,  
Стал Руси тяжкою бедой...

«И запируем на просторе»?.. Нет, предрекает К. Аксаков, не вечно будет длиться этот праздник:

Народа дух распустит крылья,  
Изменников обьет страх,  
Гнездо и памятник насилия —  
Твой град рассыплется во прах!


Ненависть к Петербургу неотделима от воззрения славянофилов, и, казалось бы, «Медный всадник» — тем более аранжированный на казенный лад стихотворцами 1840 — 1850-х годов (вспомним, например, Бориса Федорова) — должен был производить отгалкивающее впечатление на членов этого кружка. Однако «петербургская повесть» понадобилась и братьям Аксаковым.

20 июля 1859 года И. С. Аксаков сообщал писательнице Н. С. Соханской (Кохановской), приславшей в «Русскую беседу» свою статью о Пушкине: «Знаете ли Вы, что выпущенные строфы в «Медном всаднике», не пропущенные цензурой и отчасти напечатанные в «Библ(иографических) записках», исполнены чуть ли не ругательств Петру, совершенно славянофильских. <...> Пушкин был занят величайшим патриотическим делом — историей Петра Великого. Патриотизм Пушкина выразился в том, что он получил такое отвращение к Петру и его зверству, что не в состоянии был написать эту историю и бросил» (212, 589).

Конечно, современники помнили догадку Белинского о том, что в поэме не хватает монолога Евгения, обращенного к Медному всаднику, и психологически объяснимо стремление нового вождя славянофильской партии выдать желаемое за действительное — обратиться неизвестные ему «выпущенные строфы» великого поэта в пользу своего дела и веры. (Это же определило его интерпретацию судьбы пушкинской «Истории Петра».) Но важно учитывать и то, что неопределенное состояние текста «Медного всадника» само по себе стимулировало читательскую фантазию.

В 1855 году вышло шесть томов нового издания Пушкина, которое подготовил П. В. Анненков. «Петербургская повесть», помещенная в третьем томе, была напечатана по тексту первой (и второй) публикации; лишь в примечаниях Анненков указывал на то, что



некоторые стихи принадлежат Жуковскому. В 1857 году Анненков издал седьмой, дополнительный, том, где ему удалось впервые опубликовать большой фрагмент «Медного всадника» (*И львов, и площадь и Того*  *Бежать пустился...*), заключавший в себе ключевую сцену поэмы. Однако две купюры сделать все же пришлось — строка точек заменяла стих: *Россию поднял на дыбы?*, и отточия стояли на самом сакраментальном месте:

«Добро, строитель чудотворный!»  
Шепнул он, злобно задрожав...  
. . . . . И вдруг стремглав  
Бежать пустился. <...> (1, 72—73).

Этот казус, очевидно, имел в виду И. Аксаков в переписке с Соханской (второй раз об этом идет речь в письме от 9 сентября 1859 года). Упоминание же о «Библиографических записках» — не случайная обмолвка. Этот московский журнал, издававшийся на протяжении трех лет (в 1858—1859 годах им руководил А. Н. Афанасьев, в 1861 году — В. И. Касаткин), успел ввести в оборот большой массив дотоле запрещенной литературы. В частности, в номерах от 27 мая и 12 июня Е. И. Якушкин напечатал статью «По поводу последнего издания сочинений А. С. Пушкина», в которой обнародовал неизвестные ранее строки из «19 октября» и других стихотворений; может быть, данная статья ассоциировалась у Аксакова с приращениями текста «петербургской повести».

Самое любопытное, что Аксаков невольно оказался пророком: именно в «Библиографических записках» завершилась история публикации этого фрагмента поэмы. 16 апреля 1861 года здесь появился обзор П. А. Ефремова «Поправки и дополнения к некоторым стихотворениям Пушкина», и в четвертом пункте было отмечено, что в тексте «Медного всадника» есть «пропуск, который во многих рукописях читается:

О мощный властелин судьбы!  
Не так ли ты над самою бездной  
На высоте уздой железной  
Россию вздернул на дыбы?

Картина высокая, грандиозная! — Затем речь безумного к Всаднику оканчивается словами:

Ужо тебе!» (39, стлб. 276).

Летом 1861 года восклицание Евгения увидело свет в разделе дополнений и вариантов берлинского сборника «Стихотворения Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений». Н. В. Гербель, редактор этого тома, действовал заодно с П. А. Ефремовым и Е. И. Якушкиным; с рукописью же «Медного всадника» сотрудников «Библиографических записок» познакомил П. В. Анненков (255, 197).

Берлинское издание было доступно русским читателям 1 ноября 1861 года, благодаря Я. К. Грота за прекрасный экземпляр, П. И. Бартенев замечал: «А в стихах многое не стоило печати, и принадлежность их поэту не доказана. Что за богатая была жизнь; как много остается не исследовано. Меня уверяли, будто у сыновей его есть целая тетрадь его мемуаров за последние шесть лет жизни» (272, л. 32).

В статье «Народность и литература», опубликованной во втором номере журнала «Время» за 1861 год, Аполлон Григорьев назвал ориентиром русского западничества «тот Медный всадник, в обаятельно грозной личности которого трудно разочароваться нам всем даже до сих пор, даже после всех разоблачений страшных, окружающих ту личность и неотделимых от нее фактов, — и трудно именно потому, что этот Медный всадник все-таки полнейший в добре и зле представитель нашего духа...».

Формулировка Аполлона Григорьева, как это всегда случалось, мало кого удовлетворила. Общество требовало определенный ответ — такой, например, какой в том же 1861 году дал упоминавшийся выше И. Г. Прижов (в фельетоне «Петербург и Москва»): «Что бы там ни говорили про Петра, но важно одно, что он — любимец народа, а его статуя есть идеал если не всей молодой России, то Петербурга» (192, 271).

В 1872 году на широкую ногу праздновали двухсотлетний юбилей Петра Великого; к этому событию

были приурочены публичные чтения Сергея Михайловича Соловьева — самого маститого русского историка того времени. Соловьев, представивший панораму всей петровской эпохи, был в ударе и снискал восторги московской аудитории в переполненном зале Благородного собрания. Говоря об удачном выборе места для новой столицы, лектор последовательно отвел все упреки в адрес Петра и закончил обзор беглым замечанием: «Наконец, что касается неудобств климата и почвы, то нельзя требовать от людей, физически сильных, чтоб они предчувствовали немощи более слабых своих потомков». Сказано, конечно, не совсем по существу дела (от петербургских наводнений равно погибали и богатыри и калеки), но показательно именно то, что Соловьева данный вопрос не очень-то занимает.

В отличие от его ученика — и тоже прославленного историка — Василия Осиповича Ключевского. Среди записей, сделанных им в последние годы жизни, есть и такая: «Петербургом Петр зажал Россию в финском болоте, и она страшными усилиями выбивалась из него и потом утрамбовывала его своими костями, чтобы сделать из него Невский проспект и Петропавловскую крепость — гигантское дело деспотизма, равное египетским пирамидам» (117, 392).

«Полнейший в добре» или в «зле»? Этот вопрос обострял восприятие «петербургской повести». В своей книге, вышедшей в 1874 году, П. В. Анненков писал: «Вызов помутившегося в уме чиновника, обращенный к памятнику Петра, мгновенное оживление памятника и погоня за оскорбителем, по всей вероятности, не составляли в плане Пушкина конца поэмы, как теперь. Зная его цели, тут невольно ждешь грозных объяснений царя и его апофеозы» (16, 82). Ивану Аксакову, питавшемуся слухами, не доставало в поэме «ругательств Петру», хорошо осведомленному Анненкову — его «апофеозы». И если даже П. И. Бартеневу, тоже работавшему с рукописями «Медного всадника», казалось, что Пушкин «не успел кончить эту лучшую свою поэму» (25, 230), то как не понять рядовых читателей, которые *вчитывали* в текст «Медного всадника» односмысленные, хотя и противоположные, развязки.

В этой атмосфере легко возникали легенды. Версия, изложенная И. Аксаковым в частном письме, получила дальнейшее развитие в воспоминаниях Павла Петровича Вяземского, с которыми он выступил в 1880 году.

«Из сочинений Пушкина за это время неизгладимое впечатление произвела прочитанная им самим «Капитанская дочка» и ненапечатанный монолог обезумевшего чиновника перед Медным всадником. Монолог этот, содержащий около тридцати стихов, произвел при чтении потрясающее впечатление, и не верится, чтобы он не сохранился в целости. В бумагах отца моего сохранились многие подлинные стихотворения Пушкина и копии, но монолога не сохранилось, весьма может быть потому, что в монологе слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации. Мне все кажется, что великолепный монолог таится вследствие каких-либо тенденциозных соображений, ибо трудно допустить, чтобы из всех людей, слышавших проклятье, никто не попросил Пушкина дать списать эти тридцать—сорок стихов. Я думал об этом и не смел просить, вполне сознавая, что мое юношество не внушает доверия. Я помню впечатление, произведенное на одного из слушателей, Арк. О. Россетти, и мне как будто помнится, он уверил меня, что снимет копию для будущего времени» (62, 548).

Свидетельство Вяземского-сына многие приняли на веру, однако некоторые знатоки насторожились. Так, П. А. Ефремов резонно замечал: «Это писано уже после смерти Россетти, и князь не говорит, в чьем чтении, когда и где слышал покойник этот монолог, а также не указывает, что сам когда-нибудь его слышал. Но если б монолог действительно существовал и его кто-нибудь знал, то об этом должны были сохраниться воспоминания в записках, переписке и т. д.» В 1880 году в Петербурге открывалась Пушкинская выставка, и, воспользовавшись присутствием на ней последних могикан пушкинской эпохи, Ефремов устроил «очную ставку». Он предложил П. П. Вяземскому спросить у А. И. Арнольди (единоутробного брата Россетов), «не нашлось ли в бумагах его брата, Аркадия Осиповича, монолога безумного Евгения к статуе Петра?» Арнольди кате-

горически заявил, «что ничего подобного не нашлось и что он не только не видал монолога у брата, но даже никогда ничего об этом не слышал. Князь после этого не сказал ни единого слова...» (2, 458—459).

Подозрения Ефремова оправдались. Ни в одной из известных рукописей поэмы, заключает Н. В. Измайлов, нет и намека на продолжение «сжатой угрозы» Евгения (4, 234). Исследователь склонен предположить, что П. П. Вяземский ошибочно соотнес с «Медным всадником» речь Алеко из поэмы «Цыганы», оставшуюся за пределами печатного текста (IV, 444—451; 4, 234), однако эта гипотеза плохо согласуется с контекстом процитированных мемуаров. Очень сомнительно, чтобы в середине 30-х годов Павел Вяземский мог от кого-либо — в том числе и от Пушкина — слышать незавершенный отрывок из ранней поэмы. Скорее всего, вымышленный младшим Вяземским монолог Евгения — характерный эпизод из истории восприятия именно «Медного всадника» (54, 168). Впрочем, надобно заметить, что П. П. Вяземский не чуждался литературных мистификаций: в 1887 году он выпустил мнимые записки французской писательницы Омер де Гелль, в которых повествуется о ее встречах с Лермонтовым на Кавказе и в Крыму.

Иной характер носит другая легенда, связанная с «Медным всадником» и имеющая широкое хождение вплоть до наших дней. Здесь снова всплывает имя Александра Петровича Милюкова. В 1869 году в воскресном выпуске газеты «Сын отечества» он опубликовал заметку «Откуда Пушкин взял сюжет „Медного всадника“». Этот текст, подвергнувшийся стилистической правке, вошел в состав мемуарной книги Милюкова 1872 года.

Милюков рассказал, что однажды, во время экзамена в некоем женском учебном заведении, граф Михаил Юрьевич Виельгорский сообщил ему следующее. «В 1812 году, когда Наполеон шел к Москве, французский корпус маршала Удино движением на Полоцк породил опасение за Петербург. В столице поднялась тревога. (...) Зная, между прочим, что Наполеон любил

вывозить из столицы памятники (...), у нас стали опасаться, как бы он не увез в Париж монумент Петра Великого. Кто-то предложил, в случае серьезной опасности, снять фальконетовскую статую с пьедестала, поставить на судно и отправить (...) в одну из отдаленных губерний. Государь одобрил эту мысль».

В это время князю Александру Николаевичу Голицыну приснилось, что он идет «с докладом государю на Елагин остров, по Большой Миллионной, в направлении от Зимнего дворца». Вдруг позади, «как будто на Адмиралтейской площади, раздался гул, точно отдаленный топот лошади. (...) И вот в домах, мимо которых я проходил, начали звенеть стекла, и самая мостовая как будто колебалась. (...) Тут я обернулся от ужаса. В нескольких саженях от меня, при сумрачном свете раннего утра, скакал огромный всадник на исполинском коне, потрясающем всю окрестность топотом своих тяжелых копыт. Я узнал эту фигуру по величаво поднятой голове и руке, повелительно простертой в воздухе. То был наш бронзовый Петр на своем бронзовом коне». Через Троицкий мост и Каменноостровский проспект бронзовый Петр проскакал во дворец, и поспешавший за ним Голицын видит, как император Александр (лицо его «было грустно и озабочено») быстро приблизился к «царственному всаднику».

Воскликнув: «Ты соболезуешь о России!», — Петр далее произнес: «Не опасайся! (...) пока я стою на гранитной скале перед Невой, моему возлюбленному городу нечего страшиться. Не трогайте меня — ни один враг ко мне не прикаснется». И после этих слов Всадник удался.

«Граф Виельгорский прибавил, что князь Голицын на ближайшем докладе у государя рассказал ему свой чудесный сон. Рассказ этот так подействовал на императора, что он приказал отменить все распоряжения к отпавке из Петербурга Петра Великого (...)

Когда впоследствии пересказали этот сон Пушкину, он пришел в восторг и долго повторял: какая поэзия! какая поэзия! Он признавался графу Виельгорскому, что тогда же начал обдумывать содержание своего «Медного всадника», и хотя потом дал поэме другую

идею и обставил ее иными подробностями, но при всем том видно, что интересный сон князя Голицына послужил главным основанием повести» (158, 225—231). В газетном тексте заключительная сентенция сформулирована осторожнее: «... при всем том нельзя не видеть, что поэтический сон князя Александра Николаевича Голицына имел на нее (повесть) значительное влияние» (234, 409).

Милюков весьма неопределенно датировал свою встречу с Виельгорским на экзамене: из контекста можно уразуметь, что дело происходило в конце 1840-х — начале 1850-х годов. Уже к моменту первой публикации рассказа давно не было в живых двух главных действующих лиц: А. Н. Голицын (личный друг императора Александра I, в 1812 году занимавший должность обер-прокурора Синода) скончался в 1844 году, а М. Ю. Виельгорский — в 1856 году.

Каких-либо откликов на публикацию Милюкова не последовало, а вскоре в печати появились данные, ставящие под сомнение его рассказ.

В 1873 году, через год после выхода книги Милюкова, в «Русском архиве» были опубликованы выдержки из «Старой записной книжки» П. А. Вяземского (без указания авторства): здесь — со слов бывшего управляющего делами кабинета министров П. С. Молчанова — рассказывалось о проекте эвакуации памятника Петру Великому в 1812 году. Ни Молчанов, которому «поручено было государем это отправление», ни сам Вяземский не обмолвились о каких-либо пророческих сновидениях.

Еще через год, в 1874 году, некто «М.» (М. И. Семейский?) заново изложил это предание на страницах «Русской старины». Его версия отличалась от предшествующей тем, что скачущего всадника видел во сне петербургский почт-директор Константин Яковлевич Булгаков... (213, 786). Не упоминая о публикациях Милюкова, автор заметки не ушел и сообщения Вяземского, из которого следовало, что не Голицын, а Молчанов отвечал за эвакуацию памятника в 1812 году.

Наконец, в 1877 году Петр Иванович Бартенева обнаружил третью версию легенды (опять-таки выступая

как первооткрыватель). Издатель «Русского архива» сообщал, что «мысль о «Медном всаднике» пришла Пушкину вследствие устного рассказа, который был ему передан известным графом М. Ю. Виельгорским. В 1812 году, когда опасность вторжения грозила и Петербургу, государь Александр Павлович предполагал увезти статую Петра Великого, и на этот предмет статс-секретарю Молчанову было отпущено несколько тысяч р(ублей). В приемную к кн. Голицыну, масону и духовидцу, повадился ходить какой-то майор Батурина. Он добился свидания с князем (другом царевым) и передал ему, что его, Батурина, преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр Павлович. (...)

Всадник въезжает на двор Каменноостровского дворца, из которого выходит к нему навстречу задумчивый и озабоченный государь. «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию? — говорит ему Петр Великий. — Но покамест я на месте, моему городу нечего опасаться!» Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжело-звонкое скаканье.

Пораженный рассказом Батурина, князь Голицын, сам сновидец, передает сновиденье государю...». И в результате — «статуя Петра Великого оставлена в покое».

Добавляя, что данный рассказ «случилось нам слышать от современников, и в числе их от С. А. Соболевского», Бартенева резюмировала: «Пушкин, как известно, был необычайно впечатлителен, и поэтические черты рассказа о страшном сне, в связи с воспоминаниями о судьбе России в 1812 году, поразили его. Таково первоначальное происхождение его «Медного всадника» (208, 424—425).

Нетрудно заметить, что версия Бартенева обладала очень важной особенностью. Сновидение здесь приписано абсолютно безвестному лицу, и это снимало вопрос о достоверности самого рассказа, который переходил уже в ранг петербургского предания. Именно «сон майора Батурина» получил наибольшее распространение

в пушкиноведении, хотя в ряде работ встречались и пересказы «сна Голицына». Стоит, впрочем, упомянуть о том, что известный историк Петербурга П. Н. Столпянский, следовавший версии Бартенева, на склоне лет написал заметку «У Медного Петра»: здесь сюжет обогащен рядом подробностей, а героем рассказа выступает отставной майор Бахметев, проживавший «где-то на окраине Петербурга, в далекой Коломне, на Бугорке, в Козьем болоте» (292, л. 1). В целом же до-революционные исследователи, за исключением, пожалуй, П. А. Ефремова, квалифицировавшего интересное нас предание как наивную и нелепую «сказку» (2, 460), склонны были усматривать более или менее очевидную связь между «рассказом Виельгорского — Соболевского» и замыслом «Медного всадника». Эта точка зрения сохраняется и в современной науке; но если у Н. В. Измайлова, крупнейшего знатока истории текста поэмы, она сформулирована с традиционной гипотетичностью (4, 243), то Л. А. Черейский безоговорочно заключает, что о «сне Батурина» Виельгорский рассказал Пушкину во второй половине 1833 года, впрочем, документально не обосновывая свой вывод.

Что же касается очевидных реминисценций из «петербургской повести», которые встречаются в рассмотренных записях (особенно показателен рассказ Бартенева), то сами по себе они не смущали исследователей: литературная история этой легенды началась спустя много лет после публикации «Медного всадника», а ее устное бытование в пушкинском кругу удостоверяно авторитетом Бартенева, которого невозможно заподозрить в мистификации.

И все же есть серьезные основания усомниться в том, что эта легенда возникла сразу после 1812 года и вообще при жизни Пушкина. Настораживает уже то, что она никак не отразилась в известных нам первоисточниках по эпохе Отечественной войны (хотя документальный фонд, относящийся к событиям 1812 года, достаточно обширен и хорошо разработан). Не углубляясь в примеры, отметим отсутствие даже намека на подобный сюжет в материалах таких современников, как П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, петербургский

и московский почт-директоры К. Я. и А. Я. Булгаковы (одному из них, мы знаем, чудесный сон иногда «приписывался»), которые отличались особым вкусом к анекдотике. Вяземский дожил до тех времен, когда «рассказ Виельгорского — Соболевского» получил печатное обращение, — и успел высказаться по этому поводу.

В бумагах Вяземского сохранились продиктованные им замечания об анонимной статье «Александр Сергеевич Пушкин», опубликованной в августе 1874 года в «Русской старине» (213, 683—714). На полях рукописи есть дополнения, сделанные рукой престарелого Вяземского. (На последней странице — помета переписчика: «18 августа 1874. Гомбург»; на первой — помета: «Получено от кн. П. А. Вяземского из Гомбурга 1 окт(ября) 1874 г.») Критический разбор журнальной статьи, записанный со слов Вяземского, завершается пассажем: «В той же книжке «Русской старины» на стр. 786 сказано, что сновидение Булгакова подало Пушкину мысль написать поэму «Медный всадник». (...) Это не имеет никакого ни основания, ни правдоподобия. Довольно доказать это тем, что Конст(антин) Яков(левич) Булгаков не был в 1812 году почт-директором в Петербурге (...); служа по дипломатической части, он, вероятно, не был в это время и в Петербурге. К тому же известно из рассказов П. С. Молчанова (...), что ему, а не князю Голицыну было поручено в случае надобности вывезти памятник Петра Великого из Петербурга» (274, л. 8—8 об.).

Очень важным представляется то обстоятельство, что Вяземскому вообще не знаком сюжет предания. Контекст его заметки не оставляет сомнения в том, что, если бы он когда-нибудь слышал о чудесном сне, якобы преследовавшем «майора Батурина» или другого персонажа (а не реального К. Я. Булгакова, который действительно стал столичным почт-директором только в 1820 году), то непременно бы об этом помянул.

Если замечания Вяземского предназначались для печати, то он должен был адресовать их в «Русский архив» к Бартеневу. Однако ни в этом, ни в каком другом издании они не появились. Через три года, напомню, Бартенев в своем журнале изложил версию о «сне

майора Батурина»; Вяземский тогда болел (ему оставалось жить немногим более года), и нам неизвестно, как он реагировал на этот рассказ. В 1881 году, после смерти Вяземского, Бартенев еще раз упомянул его сообщение о проекте эвакуации памятника Петру Великому в 1812 году, но здесь же повторил и свою версию (25, 239).

Сейчас невозможно установить, знал ли Бартенев о скептическом отношении Вяземского к данной легенде. Он мог знать, но не придать этому значения; мог не знать, и тогда дело объясняется еще проще. Однако, не сомневаясь в том, что Бартенев слышал это предание от Виельгорского и Соболевского, мы обязаны принять в расчет и показание Вяземского. Это — единственное свидетельство об интересующем нас сюжете, исходящее от ближайшего друга Пушкина, знатока и собирателя литературного фольклора.

Можно предположить, что в сознании Виельгорского и Соболевского анекдот позднейшего происхождения архаизировался, и эта абберрация произошла под влиянием «петербургской повести» Пушкина. Здесь уместно вспомнить и о реминисценциях из поэмы в тексте рассказов, и о том, что А. Н. Голицын, по сообщению Милюкова, в 1812 году называет Фальконетов монумент — Медным всадником (158, 230).

«Медный всадник», таким образом, начал «порождать» собственные источники. Эту особенность читательского восприятия следует оценить по достоинству: к началу нового века пушкинская поэма аккумулировала в себе энергию всего комплекса легенд, слухов, кривотолков, стихов и романов, сближений и пророчеств, которому еще не было найдено названия.

На склоне девятнадцатого столетия «Медные всадники» Пушкина и Фальконета начинают обособляться друг от друга в читательском сознании. Вероятно, не в последнюю очередь это было вызвано изменением облика города. В. А. Оболенский, родившийся в 1869 году, вспоминал: «В раннем моем детстве не существовало и Александровского сада, а среди огромной площади,

от Сената до Зимнего дворца, с одной стороны скакал «Медный всадник», а с другой возвышалась Александровская колонна. До сих пор у меня осталось ясное воспоминание о величественной красоте этой площади, с видом на Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Зимний дворец и с мчавшимся по ней Медным всадником. Такой она была и в день декабрьского восстания 1825 года» (177, 10—11). Но уже в 1881 году П. Бартенев фиксировал: «В наши дни утратилось несколько обаяние Медного всадника: стеснена площадь, на которой он красуется; самое изображение заслонено чрез меру раздвинутым садом, и вечером, когда проезжаешь теми местами, уже не так отчетливо, как прежде, выступает Петр

Во мраке медною главой» (25, 228).

Действительно, петербургская проза в эту эпоху не замечала памятник Петру. Один из героев предсмертного романа А. И. Пальма (того самого Пальма, который за полвека до этого был восхищен «самым замечательным чудом») «Петербургская саранча» (1884) служит на Сенатской площади, и его поход на службу в романе описывается, но Медный всадник не упомянут.

В те же восьмидесятые годы приезжает из Киева в Петербург молодой (и рано умерший) литератор Виктор Бибиков (о нем теперь пишут как об одном из предшественников символизма). В романе «Друзья-приятели» (1890) он изложил историю своего знакомства со столицей:

«Петербург разочаровал Плавутина. <...> Может быть, под влиянием альбомов и иллюстраций, которые ему случилось рассматривать, Петербург представлялся пышной столицей, сплошь застроенной величественными зданиями, с площадями для великолепных памятников. И все памятники почему-то воплощались в колоссальном монументе Петра Великого, пушкинском Медном всаднике». Хмурая столица ошарашила героя, но на следующее утро засияло солнце, и он, перейдя с Васильевского острова по Николаевскому мосту, «не спеша пошел по Английской набережной, любуясь красавицей Невой и вспоминая про себя пушкинские стихи. Медный

всадник, среди обширных зданий Адмиралтейства и Сената, благодаря близости громады Исаакия, на купол которого, ярко освещенный солнцем, было больно смотреть, не показался ему большим, но он подошел и ближе рассмотрел красивый монумент». На этом тема памятника в романе обрывается.

Подхватило эту тему уже новое столетие.



## ПРИМЕЧАНИЯ

### НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

<sup>1</sup> Высказывания принадлежат И. А. Бунину, Д. Н. Мамину-Сибряку (дважды), А. В. Амфитеатрову, Андрею Белому, Г. И. Чулкову, Ю. И. Айхенвальду, Н. К. Кульману, И. А. Оксену, Г. П. Федотову.

<sup>2</sup> О поэме писали в специальных статьях и в общих работах И. Л. Альми, П. Г. Антокольский, П. М. Бицилли, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, Ю. Б. Боров, В. Э. Вацура, Г. В. Вернадский, У. Викери, А. И. Гербстман, М. А. Гордин, Д. Гранин, А. М. Гуревич, М. П. Еремин, Н. В. Измайлов, Г. Красухин, В. Д. Левин, В. Ледницкий, Ю. М. Лотман, Е. А. Маймин, А. Македонов, Б. С. Мейлах, М. О. Меньшиков, Д. С. Мережковский, П. Н. Милоков, А. Г. Найман, Н. Н. Петрунина, А. Платонов, Л. В. Пумпянский, Д. П. Святополк-Мирский, С. Сендерович, А. Л. Слонимский, Л. С. Сидяков, О. С. Соловьева, А. Е. Тархов, Л. И. Тимофеев, Е. А. Тоддес, И. М. Тойбин, Б. В. Томашевский, В. Н. Турбин, С. А. Фомичев, Е. С. Хаев, Э. И. Худошина, В. Ф. Ходасевич, В. Б. Шкловский, М. Н. Эпштейн, Р. О. Якобсон и многие другие.

<sup>3</sup> Если у Ксенофонта Полевого монолог Побродяжкина вызвал некоторое сочувствие, то спустя шестьдесят лет эти стихи находили пластичными и выразительными уже за то, что «ярко обрисован ими пигмей Побродяжкин с его куриным мирозерцанием, осуждающий великого Петра...» (84, 580). В эту эпоху и пушкинская поэма читалась как осуждение дерзости восставшего муравья. История становления «государственной» и «гуманистической» концепций «Медного всадника» освещена в книге Г. М. Макогоненко (152, 317—326).

<sup>4</sup> Основные вехи истории интерпретации «Медного всадника» освещены в книге Г. В. Макаровской (151) и статье В. Б. Сандомирской (200, 398—406). Программу изучения различных интерпретаций поэмы в их обусловленности историческими контекстами предлагает монография А. Книгге (268). Ср. содержательную рецензию А. Архангельского (20).

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### «ПРОШЛО СТО ЛЕТ»

<sup>1</sup> Обширный архивный и печатный материал, относящийся к юбилею 1803 года, хранится в собрании А. В. Половцева (1849—

1905), заведующего общим архивом министерства императорского двора (ОР и РК ГПБ, ф. 601, № 1851).

<sup>2</sup> По мнению Л. В. Пумпянского, наиболее подробно изучившего данный вопрос, здесь даже две формулы — «хронологическая», которая подчеркивает разницу между «прежде» и «ныне», и топографическая, которая указывает на «тождество места» (195, 95). Эта двуединая формула возникла даже раньше, чем сам Петербург. В дневнике секретаря имперского посольства в России И. Г. Корба, вышедшем в Вене в 1700 году, есть такие строки: «Царь старается при помощи искусств и наук придать лучший вид своему царству. <...> в скором времени на месте прежних хижин воздвигнуты будут красивые сооружения...» (цит. по: 77, 89).

В последней фразе тургеневской записки цитируется строка из «Надписи к камню, назначенному для подножия статуи Петра Великого», сочиненной В. Г. Рубаном в 1770 году: «Нерукотворная здесь Росская гора...». Пушкин, сославшийся на Рубана в примечаниях к «Медному всаднику», заимствовал у него эту строку для своего «Памятника».

<sup>3</sup> Документальные свидетельства о наводнении 1824 года впервые были собраны в книге П. П. Каратыгина (115, 33—84). Круг материалов, представляющих непосредственный интерес для изучения «Медного всадника», более или менее очерчен в работах Г. М. Ленобла (137) и Н. А. Рябиной (219), а важнейшие документы недавно перепечатаны в издании, подготовленном Н. В. Измайловым (4, 103—124). См. также публикацию (178, 242—247).

<sup>4</sup> Анализ анекдотов о козупственных выходках против памятника Петру Великому см. (145, 41—43). Ср. также малоизвестный рассказ Д. Н. Свербева о случае, произошедшем около 1801 года — в эпоху недолгого царствования Павла I — с будущей женой П. А. Кикина: «гуляя со своей англичанкой», она проходила «мимо памятника Петра Великого, у которого был постоянный сторож, чтобы не допускать тогдашних шулунов наклеивать на памятник ругательные афишки. Бывшая с ними москья от них отбежала, и молоденькая Торсукова начала ее звать; громкий оклик сторожа заставил вздрогнуть гуляющих: «Какое слово ты это сказала?» — «Я ничего-с,— отвечала девочка,— зову к себе мою москью». — «Как ты смеешь! Москью! Знаешь ли, кто у нас москья?» И тут схватил ее за руку, чтобы вести в полицию» (220, 192).

<sup>5</sup> См. подробное обоснование этой точки зрения (не учитывающее, впрочем, приоритет М. А. Зенкевича) в новейшем исследовании (167, 133—140, 191—193).

<sup>6</sup> «Пожалуй, и о потопе было бы неудобно говорить, произойди он в царствование императора Николая» (130, 56), — связывал позднее маркиз де Кюстин. Государь действительно не любил жалобы на петербургский климат, но уважал связанное изложение фактов,



относящихся к конкретному предмету. Пушкин, конечно, учитывал это обстоятельство.

<sup>7</sup> Дата выхода второй части «Панорамы...» указана самим автором (27, ч. 1, 264); цензурное же разрешение было получено еще 24 декабря 1833 года.

<sup>8</sup> Отрывок из этой поэмы, названной Жуковским «Езерский», Пушкин напечатал в 1836 году (в третьем томе «Современника») под заглавием «Родословная моего героя».

<sup>9</sup> Из работ, посвященных сопоставлению «Отрывка» и «Медного всадника», см. также (248, 157—206; 236; 4, 137—139).

### «СУДЬБА С НЕВЕДОМЫМ ИЗВЕСТЬЕМ...»

<sup>1</sup> Как отметил В. Н. Топоров (242, 7, прим. 6), Пушкин развивает здесь карамзинский образ Москвы: «...когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях» («Бедная Лиза»).

<sup>2</sup> В квадратных скобках дается слово, отсутствующее в автографе. Публикатор «Записок» Смирнова предлагает конъектуру «город» (46, 7), однако, на наш взгляд, в данном контексте уместнее выглядит «столица».

<sup>3</sup> Предание о тесной прикосновенности Смирновой к созданию «петербургской повести» впоследствии культивировала ее дочь. В так называемых «Записках» А. О. Смирновой, составленных О. Н. Смирновой по разным источникам, находим, например, такой эпизод: «„Искра“ (Пушкин) принес мне поэму «Медный всадник». Он уже написал несколько строф. Он напомнил мне один вечер и видение, как Петр Великий скачет по петербургским улицам. Я нашла описание наводнения превосходным, особенно начало — думы Петра на пустынных берегах Невы. Когда я высказала Пушкину мое восхищение, он улыбнулся и грустно спросил: „Вы, значит, находите, что в моей гадкой голове есть еще что-нибудь?“» (229, 19—20). Не говоря уже о безвкусно-кокетливом характере реплики, якобы произнесенной Пушкиным, напомним, что он привез в Петербург совершенно законченную поэму.

<sup>4</sup> Высказывалось мнение, что Гоголь ознакомился с «Медным всадником» уже в декабре 1833 года (см.: 185, 206; 244, 34). Трудно, однако, вообразить такую ситуацию, при которой Гоголю отдается предпочтение перед ближайшими друзьями Пушкина (Жуковским и Вяземским); показателен и тот факт, что о видах поэта на «Библиотеку для чтения» в гоголевском письме ничего не говорится, хотя эта информация представляла для Максимовича существенный интерес. У нас также нет оснований связывать упоминаемый в «Шинели» «вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади фальконетова монумента», с устными рассказами Пушкина именно в 1833 году (244, 50, прим.

6): в подобных случаях источники вообще не могут быть идентифицированы. По-видимому, в данном эпизоде варьируется известный апокрифический сюжет о петербургском коменданте П. Я. Бащуком, которого напугали сообщением о краже памятника Петру I шведскими агентами; популярность этого сюжета засвидетельствована в «Подростке» Достоевского (часть вторая, глава первая).

<sup>5</sup> Обзор литературной продукции, посвященной строительству и открытию Александровской колонны, см. в книге М. П. Алексеева (12, 65—75).

<sup>6</sup> Б. Л. Модзалевский, впервые обнародовавший строки из этого письма, по ошибке отнес их к дневниковой записи Тургенева от 19 октября 1834 года (5, 73). После того, как М. И. Гиллельсон опубликовал подлинную дневниковую запись Тургенева с упоминанием о пушкинской поэме (от 15 октября), в научной литературе появились ссылки на два разновременных, но явно дублирующих друг друга текста, восходящих к одному и тому же источнику (см.: 4, 221, прим. 8).

<sup>7</sup> Н. Т. Ашимбаева и А. Б. Рогинский, авторы рецензии на первое издание этой книжки, предположили, что Бенкендорф, возвращая рукопись поэмы 12 декабря 1833 года, намекнул автору на несвоевременность ее публикации ввиду предстоящего открытия Александровской колонны (23, 111). Не исключено также, что Бенкендорф дал понять Пушкину и о сроках этого своеобразного «карантина».

<sup>8</sup> Именно такой образ Петербурга культивировался в николаевское царствование. В повести М. Ф. Львовой (Ростовцевой) «Нина» (1839), предназначенной исключительно для семейного и дружеского круга, один из персонажей, коренной столичный житель, признается своей племяннице-провинциалке в «давней страсти к войскам». «А я вся в вас», — отвечает ему Нина. «Я ужасно люблю войска, особенно верховых. Вчера вас не было дома, а мимо нас два раза прошел полк, на вороных лошадях, в золотых латах и шишаках (...) Что это за престель!.. — Ах ты смешная, Нина (...) какие они верховые, они конные, у них каски, а не шишаки. На днях, говорят, будет большой парад, я непременно тебя сведу посмотреть» (282, л. 18—19). Ср. в одном из «Писем провинциалки из столицы» Ф. В. Булгарина, печатавшихся в 1830 г. в «Северной пчеле»: «Знаешь ли, что я заметила? Дамские моды всегда идут за покровом военных мундиров, как будто нарочно для того, чтоб показать, что дамы предпочитают военных».

<sup>9</sup> Выдумка Милюкова не так давно была подхвачена в одном из наиболее читаемых альманахов (190, 460).

<sup>10</sup> Дополняя план собрания сочинений, составленный в 1830 или 1831 году, Пушкин включил в него и «Медный всадник» (6, 255).

<sup>11</sup> В повести «Нина» (см. примеч. 8) встречаем диалог, дающий представление об уровне восприятия Пушкина читателями

достаточно образованными, но не принадлежащими к аристократической среде или литературной элите. Прочитав героине первую главу «Евгения Онегина», ее поклонник Ипполит задает вопрос: «Что, нравится ли вам наш ветреный пиит? <...>

— Прекрасно написано, стихи прелестные, а Онегин сам...— она остановилась, задумалась и как будто с сожалением сказала:

— Я его не полюбила, впрочем, может быть, такой человек никогда не существовал. Жаль, что Пушкин выбрал такого легкомысленного героя» (282, л. 31—31 об.).

<sup>12</sup> Разночтения текстов 1833 и 1836 годов приведены и охарактеризованы в исследовании Н. В. Измайлова (4, 83—85, 222—226).

<sup>13</sup> На сегодняшний день это последнее приращение текста поэмы. Вообще же история текстологического изучения «Медного всадника» составляет особый и обширный сюжет, который здесь не может быть освещен. Напомним лишь основные эпизоды. В 1923 году П. Е. Щеголев объявил «дефинитивной, окончательной редакцией» поэмы текст автографа, поданного на рассмотрение Николаю I в декабре 1833 года (3, 64 и след.). Этот вывод был позже отвергнут именно на том основании, что в текст писарской копии 1836 года Пушкин внес не только цензурную, но и творческую правку. Однако после находки 1947 года возникли новые сложности, так как вновь обнаруженный автограф был оставлен на стадии переработки и потому «дает две редакции, из которых редактору «Медного всадника» надо выбирать только одну, причем каждая из них по своей незаконченности требует в большей или меньшей степени применения редакторской конъектуры» (4, 240). Об этой текстологической проблеме, по-разному решаемой в современных изданиях, см. специальную статью Н. В. Измайлова (109, 119—130) и позднейшие работы (156, 148—159; 226). Сводку основных данных см. также в новейшей книге М. О. Чудаковой, где на этом примере обоснован тезис о «принципиальной неразрешимости некоторых ситуаций» как «нормального явления» с точки зрения современной текстологии (249, 151).

### «... КАК С ЗАПЕЧАТАННЫМ ПИСЬМОМ»

<sup>1</sup> Это выражение принадлежит М. А. Цявловскому; см. его обстоятельную работу, дополненную и напечатанную Т. Г. Цявловской (248, 276—356).

<sup>2</sup> Примерно в это время в III отделении была составлена справка об Одоевском, Плетневе и Краевском, которая завершалась следующей характеристикой: «Все сии три лица, принадлежа к здешнему литературному кругу, состоят в близкой между собою связи; все были короткие приятели Пушкину и покровительствуются г-м Жуковским» (291, л. 1 об.).

<sup>3</sup> С аналогичными просьбами обращался к Погодину и Н. И. Любимов. См. его письма от 22 февраля, 9 и 13 марта 1837 г. (140, т. 16/18, 717—718, 720—721). Москвичи не были усердными вкладчиками «Современника»; помимо всего прочего у них постоянно находились поводы для литературных обид; см., например, письмо Шевырева Одоевскому от января 1837 г., в котором есть раздраженный отзыв о том, что «пишут в Петербурге, где издается «Библиотека для чтения» и где с адмиралтейского шпица на всю Россию ругается Сенковский».

<sup>4</sup> Дата цензурного разрешения пятого тома (11 ноября 1836 года) никак не соотносится с реальной историей этого издания. (Эта же дата выставлена и на четвертом томе «Современника», вышедшем 23 декабря 1836 года).

<sup>5</sup> См. в письме И. И. Пущина Е. А. Энгельгардту от 4 декабря 1837 г.: «О Пушкине давно я погустил; в «Современнике» прочел письмо Жуковского...» (201, 119).

<sup>6</sup> Здесь уместно привести слова Б. М. Эйхенбаума из внутренней рецензии на книгу Н. Л. Степанова «Фаддей Булгарин» (заключенную в 1929 году, но не вышедшую в свет): «Имя Ф. Булгарина в достаточном количестве и достаточно убедительно предавалось позору, но ни разу его деятельность и его фигура не была выяснена исторически и фактически. Независимо от своей доносительской роли он сыграл большую роль в истории русского журнализма (что признавали и его враги). Кроме того, в жизни Булгарина были разные периоды — был, например, период тесных дружеских отношений с Грибоедовым, да и с Пушкиным не всегда была вражда. <...> Вместо старого морально-публицистического и тем самым индивидуального подхода сделан другой, исторический, подход, не прямо реабилитирующий, но уясняющий личность и деятельность Булгарина» (298, л. 1—1 об.).

<sup>7</sup> В дневнике Никитенко эта запись ошибочно отнесена к 22 февраля (168, 198). Производившая предварительную обработку рукописи дневника, дочь автора, С. А. Никитенко, во многих случаях произвольно расставляла даты.

<sup>8</sup> См. недавнюю полемику между Г. П. Макогоненко (152, 148—157) и Г. В. Макаровой (150, 135—151). В последней из этих работ учтены существующие предположения о том, каким образом критик мог ознакомиться с подлинным текстом «Медного всадника». В круг возможных посредников должен быть включен и В. Ф. Одоевский, принимавший близкое участие в издании «Отечественных записок» в начале 1840-х годов. Следует также иметь в виду, что существовали и неизвестные нам каналы; ср. отмеченный только М. П. Алексеевым факт знакомства Белинского в 1840 году с еще не опубликованным тогда «Памятником» (12, 27—29).

<sup>9</sup> Сам Белинский был уверен в том, что переезд в Петербург (в конце 1839 года) явился поворотным моментом в его биографии.

Так полагали и современники. 21 апреля 1841 года И. С. Аксаков писал старшему брату: «8 месяцев не видал я Белинского. Что это такое? Какая перемена. Он утверждает теперь, что Петербург — великий город (...), что он очеловечился только в Петербурге, что Москву и Кремль надо жечь, как следы нашей глупой старины, что только с Петра начинается наша история...». Ср. в статье А. И. Герцена «Москва и Петербург» (1842): «В Петербурге все делается ужасно скоро. Полевой в пятый день по приезде в Петербург сделался верноподданым; в Москве ему было бы стыдно, и он лет пять вольнодумствовал бы еще. (...) Белинский, проповедовавший в Москве народность и самодержавие, через месяц по приезде в Петербург заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоца».

### ОТЗВУКИ. ПРЕНИЯ. ЛЕГЕНДЫ

<sup>1</sup> Этот мотив хорошо прослеживается в целом ряде текстов, написанных как до появления «Медного всадника» (см. у А. Ф. Мерзлякова: «Вражды, коварства змеи, растоптан, умирает...»), так и в последующие эпохи: «Гордо взнесся конь ретивый, Змей копытом умершвлен ...» (В. Р. Зотов); «Он аспида топчет, над ним торжествует... О, всадник, в тебе узнаю я Петра!» (М. П. Розенгейм) и др. Ср. истолкование змеи в фольклорном тексте, описывающем «памятник Петру Великому, который стоит на берегу реки Невы»: «Петр Великий сел на коня, приехал на Берег Невы и сказал: «если я перескочу на коне через реку, то весь мир будет мой». Супруге Петра Великого эти слова не понравились — она хотела, чтобы было так сказано: «мир будет мой и Божий». Как только царь хотел перескочить через Неву, она превратилась в змею и ужалила ногу лошади. Петр Великий и не перепрыгнул» (Гос. музей этнографии народов СССР, ф. 7, оп. 1 № 887, л. 9). См. полемическое переосмысление этого мотива у Н. Ф. Щербини: «Нет, не змия Всадник медный Растоптал, стремясь вперед, — Растоптал народ наш бедный, растоптал простой народ». Следует оговорить, что все приведенные примеры отражают устойчивую традицию аллегорического обозначения «зависти, вражды, препятствий, чинимых Петру внешними врагами и внутренними противниками реформы. Однако в контексте хорошо знакомых русской аудитории пророчеств Мефодия Патарского (...) конь, всадник и змей уже не противопоставят друг другу, а вместе составляют детали знамения конца света, змей же из второстепенного символа становится главным персонажем группы. Не случайно в порожденной фальконетовским памятником культурной традиции змею будет отведена, вероятно, не предвиденная скульптором роль» (145, 34—35).

<sup>2</sup> По словам И. С. Тургенева, записанным Л. Н. Майковым, Каратыгин, читая «Медный всадник», «усиливался представить перед

зрителем пустыню — разводя руками, и волны, и Петра Великого; при этом случае самым зычным образом возвышал свой голос; а затем самую жалостную кислою физиономиею пытался представить ничтожество утлого челнока, брошенного на эти волны» (214, 216).

<sup>3</sup> См., например, опус Н. А. Арбузова, появившийся в «Северной пчеле» 19 марта 1854 года — накануне Крымской войны:

И ныне вижу я, в глубокой тишине  
Над спящею столицей,  
Он озарен луной, на бронзовом коне,  
С подъятою десницей (...)  
Дерзнете ль вы тогда, виновники борьбы,  
Надменные витии,  
По-прежнему алкать, наперекор судьбы,  
Падения России? (...)  
Наш всадник царственный, прославленный Невы  
Державным властелином,  
И снимет чуждый гость вперед шапку с головы  
Пред русским исполином!

<sup>4</sup> Позднее, в предназначенной для юношества книжке «Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения» (1856), Чернышевский назвал эту поэму, «посвященную прославлению памяти державного основателя Петербурга», «лучшей» из всего созданного Пушкиным в этом жанре.

<sup>5</sup> Ср.: «Пространственная антитеза: Невский проспект (и вся парадная «дворцовая» часть Петербурга) и Коломна, Васильевский остров, окраины — литературно интерпретировалась как взаимное отношение несуществования» (145, 41).

<sup>6</sup> В русской поэзии этот мотив, который находим уже в «Сашке» Полежаева (1825—1826: «И недалёко серебрилось Изображение Петра. (...) С дымящимся от трубки ртом, Он, прислонясь у монумента, Стоял с потупленным челом»), мог ассоциироваться не только с тревогой, но и с особым рода возбуждением. В пьесе Н. В. Кукольника «Монумент» (1843), посвященной открытию памятника в 1782 г. (он же здесь назван Медным всадником!), И. И. Голиков, будущий биограф Петра, рассказывает о собеседованиях с «седыми» ветеранами его походов:

Я слушал. Мне казалось, Он живет (...)  
Мне показалось, будто двери  
Легонько скрипнули; я обмер; слышу:  
Идет; гляжу — Он, в канифасной куртке  
С короткой трубкой, в шапке с козырьком  
Гуляет по гостиной... Я бжесть!  
Гостей перепугал; домой! А он за мной!  
Я в кабинет и заперся... Так живо  
Расстрогано воображенье было... (40, 32).

<sup>7</sup> Существует предположение, что эти четыре стиха существовали в автографической записи Лермонтова, ныне утерянной. По мнению современных исследователей, интерес Лермонтова к теме наводнения (см. известные воспоминания В. А. Соллогуба о его любви «чертить ... вид разъяренного моря, из-за которого поднимается оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом») «мог поддерживаться, в частности, публикацией «Медного всадника» в 1837 году» (138, 447). В этой связи появление на лермонтовском рисунке абриса «Александрийского столпа», призванного «отменить» Фальконетов монумент, можно интерпретировать не только в эсхатологическом, но и политическом плане.

<sup>8</sup> В двух из них стихотворение атрибутировано подлинному автору (ГПБ, ф. 542, № 906; ЦГАЛИ, ф. 342, оп. 1, № 4), в двух — И. С. Аксакову (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 13; там же, ф. 274, оп. 1, № 438), а в двух авторство не указано (ИРЛИ, ф. 3, оп. 19, № 24; ГИМ, ф. 231, № 7).

<sup>9</sup> См.: ГПБ, ф. 542, № 906, л. 2.

<sup>10</sup> О мифологизированных моделях Москвы и Петербурга в текстах XIX—XX веков см., в частности, (242, 10—12).

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### «ПРОШЛО СТО ЛЕТ...»

<sup>1</sup> Многочисленны «гадания» по памятнику — интерпретация поз всадника и коня, направления взгляда и прыжка. С. Л. Рафалович спрашивал в триолете «Медный всадник»:

Куда прыжок: в Неву или в тучи?  
Но я ль безумца осмею,  
Кто растоптал на горной круче  
Земную мудрость, как змею?

А в триолете «Наводнение» давал еще одну версию:

Лоб увенчанный нахмура,  
Петр глядит на острова.  
Не с заката ль эта буря?  
Не изменица ль Нева?

(Конечно же, попытки угадать по лицу бронзового императора его эмоции делались задолго до наступления нашего века. Немецкий путешественник И.-Г. Коль, например, сравнил Фальконетова Петра с Колумбом, восклицаящим «Земля! Земля!» или, скорее, «Вода! Вода!»)

<sup>2</sup> О восприятии и отражении «Медного всадника» в эту эпоху заинтересованный читатель может также прочесть в специальных статьях Л. К. Долгополова, Г. В. Краснова, А. Н. Лурье, Р. Д. Ти-менчика (см. список литературы).

<sup>3</sup> Сюжет пушкинской поэмы сблизил с мифом о змееборце-громовержце еще Н. П. Анциферов в 1923 г. Ставшая уже классической статья Романа Якобсона «Статуя в поэтической символике Пушкина», написанная в 1936 году (267), дала толчок дальнейшим исследованиям мифологии памятника у Пушкина и сравнительно-мифологическим экскурсам. В последнее время появилась подробная статья М. Вайскопфа на эту тему (53). Подобные сближения перекликаются с «игрой в мыслях» русских одописцев XVIII века. Семен Бобров к своему стихотворению «К подножию монумента Петра Великого» —

Когда сам Гром, благоговей,  
Из сокровенных недр идет,  
И как пред Зевсом щепenea,  
Перед стопы Петра падет:  
О ты, громами ополченный,  
Склонись к брегам Невы, Зевес!  
Се Петр в меди одушевленный  
Удела требует небес!  
Вручи ему страны громы!

Пусть Зевс векам блистает новый! —

сделал сноску: «Здесь заключается некоторый род игры в мыслях. Гром, так назван огромный гранитный камень (<...>), а проименован так может быть или ради величины и крепости, или переносно ради дикости сердец прежних Россиян, как бы поправной и смягченной силою мудрости Его».

<sup>4</sup> Именно как запись петербургского сна может представлять интерес несладкое стихотворение Софьи Валлат «Голодные сны (Петроград — 1919 г.)», напечатанное в сборнике «Курский Союз поэтов» (1922):

На дворе зашептались пилы...  
(Звоны глухи теперь всегда).  
Мне на службе все что-то снилось...  
Кажется, вымерли города.  
И сегодня, когда стемнело,  
Странно дрогнул Аничкин мост.  
Кто-то где-то расправил тело  
Во весь свой гранитный рост.  
И послышался топот конных,  
Вдруг шарахнулся чей-то конь.  
И сказал чей-то медный голос:  
«Взять тела. Засветить огонь».  
Сошли с пьедесталов рыцари,  
И один подошел ко мне.  
И от факела странно, снится мне,  
На лице его вспыхнула медь.  
С панелей уносят трупы.